

МЕМОАРИ ПОД ГРИФОМ
<СЕКРЕТНО>

НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ



ЛИХОЛЕТЬЕ

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ
СОВЕТСКОЙ
РАЗВЕДКИ

Николай Сергеевич Леонов
Лихолетье: последние
операции советской разведки
Серия «Мемуары под грифом «секретно»»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11973850
Лихолетье: последние операции советской разведки: Алгоритм; Москва; 2015
ISBN 978-5-906789-75-4

Аннотация

Автор этой книги — человек легендарный. Николай Сергеевич Леонов — генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук, академик РАН, друг Рауля Кастро и Че Гевары, личный переводчик Фиделя Кастро во время его визита в СССР, многие годы руководил работой информационно-аналитического управления советской внешней разведки. Он не понаслышке знает о методах работы спецслужб СССР и США, о спецоперациях, которые проводило ЦРУ против Советского Союза. Основываясь на своем личном опыте Леонов показывает, как работала существовавшая в последние годы СССР система принятия важнейших политических решений, какие трагические ошибки были допущены при вводе советских войск в Афганистан, предоставлении помощи так называемым развивающимся странам, а также в ходе проводившихся при Горбачеве переговоров о разоружении.

Содержание

Начало пути	4
Первые шаги в разведке	22
В Мексике, на переднем крае	38
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Николай Леонов

Лихолетье: последние операции советской разведки

Начало пути

Довелось мне родиться летом 1928 года в неприметной рязанской деревушке с красивым названием Алмазово, расположенной на самом стыке трех областей: Рязанской, Тульской и Московской. Мужики вечно шутили, что у нас самые горластые петухи: их слышно сразу в трех губерниях. В 20 верстах от деревни раскинулось Куликово поле. В хорошую погоду от околицы можно было увидеть золоченый купол обелиска на Мамаевом кургане.

Вся моя жизнь точно уложилась в рамки советского времени. Первый свой крик я издал под копной сжатой ржи на собственном поле в последний год свободного крестьянствования. На следующее лето наша пашня уже была включена в колхозные поля. В отставку же я ушел после известных событий августа 1991 года, когда рухнула старая власть и началось новое летосчисление. 63 года, пробежавшие между этими датами, и являются предметом моих размышлений в этой книге. «Как раз на жизнь свобода опоздала», – сказал поэт про моих современников.

Точная дата моего рождения так и осталась неизвестной. В разгар жатвы родителям было некогда ехать в соседнее село, где был сельсовет, для регистрации новорожденного, а когда управились с урожаем и стали выправлять метрики, то, чтобы избежать штрафа за просрочку, назвали первое попавшееся число, поближе ко дню визита в сельсовет. Так и определили мне 22 августа как день рождения.

Моя мать Леонова Наталья Владимировна была обыкновенной крестьянкой. Когда я появился на свет, ей было 22 года и на ее плечах лежали заботы по поддержанию хлопотного середняцкого хозяйства. У нас были своя лошадь, корова, в хлеву всегда хрюкала пара свинок. Во дворе толпилось десятка полтора овец да кудахтали пара дюжин кур. Отец Леонов Сергей Михайлович, тоже из крестьян, исправно делал всю мужицкую работу, но с приходом колхозного строя решил поменять свою судьбу. Он уехал учиться на рабфак в Бобрик-Донской, там вступил в коммунистическую партию, а вскоре и обзавелся новой семьей. Возвращаться в деревню – к навозу, квасу, соломе – ему уже не хотелось. Он развелся с матерью, и я только пять десятков лет спустя узнал, что он служил в армии, дошел до чина подполковника и завершил свои дни в Минске военпредом на тамошнем автомобильном заводе. Никакого влияния на мое формирование он не оказал. Но его членство в партии едва не стоило мне жизни. Он строго-настрого запретил крестить меня, а поскольку сам был единственным коммунистом в деревне, то и я оказался единственным нехристом. Никто из бабок не соглашался приглядывать за мной, когда мать работала в поле, полагая, что я навлеку беду на дом. Однажды соседка, уступившая просьбам матери, во время разыгравшейся грозы в ужасе стала пятиться от окна, споткнулась о большую кадку, в которую сливали на пойло скоту остатки от обеда, квасную гущу, воду от мытья посуды и пр. Бабка выронила меня, завернутого в лохмотья, прямо в кадку и убежала из дому. Опомнилась она уже на улице, опрометью влетела назад в избу и вытащила из мутной жижи полуживого нехристя. Меня откачивали как утопленника, но сидеть со мной впредь наотрез отказались все. Я стал беспризорником.

Матери-разведенке с мальцом на руках в деревне стало жить трудно и неудобно. В 1929 году прошли устрашающие раскулачивания. В Алмазове, где на 120 дворов не было ни одного батрака и ни одного крупного хозяина, все-таки были раскулачены две семьи.

Дикое разорение крестьян, отправка в ссылку ближних соседей, отчаяние и ужас баб, вышедших от бессилия, окончательно убедили мать в том, что жить по старым крестьянским традициям уже не придется. Она списалась со своей теткой, давно работавшей в Москве трамвайным кондуктором, и перебралась в столицу, поступив на работу на ткацкую фабрику. Скоро она забрала меня к себе, и с 1931-го по 1934 год я проходил школу воспитания в детских садах текстильщиков. Жили мы вчетвером – бездетная тетка с мужем и я с матерью – в крошечной девятиметровой комнатухе в Третьем Павловском переулке.

Я рос не только непоседливым, шаловливым, но, может быть, и просто невоспитанным мальчишкой – как многие дети разрушенных семей. В детском саду я «внедрил» в быт регулярные футбольные игры, в которых вместо мяча использовалась чья-нибудь шапка. Когда в конце недели наши мамы приезжали, чтобы взять нас на выходной, то они бурно возмущались, увидев состояние шапок своих отпрысков. Расследование выводило карателей на меня, и наступало неотвратимое наказание.

В коммунальной квартире я как-то забил хозяйственным мылом носик чайника, принадлежавшего нелюбимым соседям, и те долго не могли сообразить, что происходит с их чаем. Я был наказан ремнем и посажен в темную уборную, но даже из-за двери продолжал хулить весь белый свет неизысканными словами. Пришлось матери отправить меня обратно в деревню к другой своей тетке.

В розвальнях, когда мы ехали со станции в Алмазово, я уловил обрывки разговора мужиков о том, что враги убили Кирова и что теперь «жизнь будет становиться все хуже». Незаметно мы втягивались в политику. Мужики стали шушукаться по углам, отчего даже пацанам становилось страшно. Повсюду нам стали мерещиться невидимые вредители. Мы, мальчишки, искали в рисунках отрывного настенного календаря скрытые фашистские знаки, образы разных гадких животных, видя во всем происки «шпионов».

Но люди никак не хотели расставаться с добрыми старыми привычками и обычаями. Плесень недоверия, подозрительности едва тронула толщу крестьян. Поэтому четыре года, прожитые в деревне до 1938-го, остались в моей памяти как самые светлые и безмятежные. Я никогда не был так сознательно близок к земле и к своему народу, к его традициям. Не будь этих лет, я бы считал себя безнадежно обездоленным. Ну где теперь увидишь такие проводы старого года, когда напротив села, на другой стороне речушки, ребятня натаскивала огромную копну соломы, которую поджигали, и она озаряла на добрую версту вокруг заснеженные поля и все Алмазово. Называлось это «сжиганием старого года» со всеми его невзгодами, лихостями и неудачами. Мальцы с визгом носились вокруг кострища, парни и девушки с хохотом играли в снежки, барахтались в сугробах. Деревенский гармонист творил чудеса на своей потрепанной, но безотказной гармонике. И на все это безоглядное веселье с радостной грустью смотрели изо всех изб глаза мужиков и баб и их отцов-стариков.

Горя мы не ведали, каждая пора года приносила свои радости. Появлялись первые проталинки на Пасху, и начинали мы катать крашеные яйца. Чье дальше укатится, тот и выиграл. Или бились острыми концами пасхальных яиц. У кого скорлупа лопалась, тот проигрывал и должен был отдать святое яичко победителю. Бывало, целый вечер просидишь у лукошка, выбирая яйцо с дополнительным наростом на конце. Церковь в селе уже не работала, попа сослали неизвестно куда, а традиции теплились: всюду пекли куличи, готовили сладкую пасху.

Потом интерес мальчишек захватывал весенний смотр техники и инвентаря. Колхоз наш был не особо мощный, но и не тщедушный. Недели за две до сева на большой луговине напротив домика правления колхоза выставлялось все наше нехитрое хозяйство. Рядами блестяли плуги и бороны, пузатились веялки и крупорушки, на генеральском месте возвышались молотилки. Задрав оглобли в небо, замирали телеги, водяные бочки, увешанные залатанной и приведенной в порядок сбруей. Ну чем не праздник? Если бы не страсти 1937–

1938 годов и не война, может быть, и сложился бы новый уклад, утвердились праздники, до которых деревня так охоча...

Пахота и сев проходили на одном дыхании. По работе мужики успевали основательно соскучиться и вкалывали на совесть. Обедали на борозде, отдыхали только из-за лошадей. Управлялись всегда в срок, не помню вздохов из-за ушедшей в лето без посева земли.

Но главное в деревне – жатва. Это всем праздникам праздник. Ничто не доставляет человеку такой радости, как вид результатов своего труда. Жатва и трудна, и празднична, как никакая другая страда в сельской жизни. Вся деревня переселялась на гумна и оставалась там до конца жатвы. В домах скрипели только старики да старухи, готовившие харчи, нянчившие малых детей да приглядывавшие за скотиной.

Мы дневали и ночевали на гумне. Рабочей силы в деревне было достаточно, нас отовсюду гоняли, чтобы мы не мешали и не попали случайно под вилы. Нас отсылали в ближайšie лощинки с родниками за водой либо поручали утаптывать солому в огромных ометах, чем мы и занимались до изнеможения, захлебываясь от восторга.

Когда же солнце садилось и машины вынужденно останавливались, вся молодежь шла на речку купаться. Речушка в нашей деревне крошечная, но ее старательно с весны запруживали, и она разливалась длинным и глубоким озерцом, в котором с гоготом и визгом плескалась шумная стая алмазовских парней и девчат. Для них это была лучшая награда за тяжелый день, за четырежды просоленные рубахи, за тысячи остей от пшеничных колосьев, которые резали и кололи до боли даже порядком задубевшую кожу рязанских хлеборобов. Сама собой появлялась гармоника, и вперемежку сыпались частушки – озорные от парней и задумчиво-мечтательные от девушек. Гомонили допоздна, чуть не до зари, а с солнышком опять вилы в руки, и снова шли гулять снопы по их острым зубьям из полевых копен до зева молотилки.

К осени, когда завершалась уборка, вся деревня начинала готовиться к большому празднику конца полевых работ. Какой бы председатель ни был в то время в колхозе, он всегда выделял быка, пару-тройку баранов, поросенка для организации общего стола. Женщины занимались праздничной кухонной работой. Они варили студень, чудесную требушиную колбасу, в косы заплетали промытые и сочившиеся жиром кишки, которые на огне превращались в золотистые лакомства, жарили на сале печенку вперемешку с кусками застывшей крови. Само мясо мы испокон веков пользовали только для первых блюд и никаких разносолов из него не делали, а вот из субпродуктов выходили все деликатесы, на которые бабы были мастерицы.

Пили тоже от души, но закусывали так сытно, что пьяных я не помню. Гулянье с песнями и плясками длилось два-три дня. Бывало, осенняя распутица начисто изолировала деревню от всех: ни проехать, ни пройти было по нашим раскисшим дорогам и лощинам; телефона, электричества, радио не было. Хлестали с неба серые дожди, стыла в окружавших деревню буераках набрякшая водой земля, а на взгорке, занятом деревней, клубились веселые дымы над трубами, наяживала гармоника и переливались песни.

Хозяйство было почти натуральное. Уже поздно осенью доставали со дна реки снопы конопли, положенные туда на отмокание, просушивали их, потом клали в мялку, вычесывали костру и готовили волокно к прядению. Всю зиму неугомонные женщины пряли либо коноплю, либо шерсть. На домашних, почти первобытных станках зимними вечерами ткали они длинные серые полотна, которые по весне расстилали бесконечными дорожками на лугу под яркими лучами солнышка на отбелку. Чего только из этих холстов не делалось: и онучи к лаптям, и простыни, полотенца, и нижнее белье, штаны и рубахи для живых и саваны для усопших. Матушка-конопля с ног до головы одевала непритязательных односельчан. Теперь ее запрещено сеять: она, видите ли, содержит в своей пылице наркотики.

Из шерсти всю зиму вязали носки, варежки, но главным образом она шла на валенки. В начале декабря в деревне появлялась бригада шабашников-валяльщиков, которые снимали у кого-нибудь избу и валяли валенки для всего села, а над деревней несколько дней клубился пар и разносился тяжкий дух распаренной шерсти. Редкий хозяин не заказывал двух-трех новых пар. Для невест и молодых женщин обязательно делали белые, парадные, изящные валеночки, детям катали маломерки, а главным товаром были черно-серые рабочие валенки, которые сразу, еще не надеванные, подшивали двойной подошвой, чтобы они помогали хозяину вынести любые морозы. Мужики, у кого голова была на плечах, все умели шить обувь, шапки и дубленые шубы и тулупы. Редко кто щеголял в суконных пальто.

Так и шла моя свободная донельзя жизнь до того момента, когда пришлось идти в школу. Первой учительницей была Валентина Матвеевна – красивая, умная и добрая, какими должны быть все учителя. Она меня встретила очень тепло, знала, что я «безотцовщина», к тому же и мамы не видел больше года. Доброты мне всю жизнь не хватало, поэтому я старался отвечать на ее проявления тем же. Учился я истово, подбадриваемый теткой и друзьями взрослыми.

А тем временем моя мама вышла вторично замуж за выходца из нашей же деревни, с такой же фамилией Леонов, работавшего на железной дороге около города Электросталь. Родилась моя первая сестра Тоня, и меня решили забрать из деревни в город.

Живо помню теплое утро раннего лета 1938 года, когда меня посадили в телегу и повезли на железнодорожную станцию. Инстинктивно чувствовал я, что закатилося мое детство и не видать мне больше вольной деревенской жизни. Я сидел на задке телеги и со сладкой болью прощался с Алмазовым, купавшимся в петушиных песнях, подпиравшим небо столбами своих дымов и постепенно таявшим в утреннем тумане. Я не знал тогда, что человеческая память хранит любимые образы лучше, чем цветная фотография. И до сих пор не только вижу то утро, но и слышу его, чувствую запах гречихи соседнего поля и неизбежную боль прощания с родиной, с укладом, который уже не вернется.

Последующие десять лет, до 1947 года, я прожил в новой семье. Отчим Леонов Константин Устинович оказался на редкость добрым, умным человеком, он принял меня как родного сына, и я не чувствовал никакой ущербности. Жили мы в двухэтажном дощатом строении с засыпными стенами, которое было воздвигнуто для строителей железнодорожной ветки Фрязево – Ногинск как временное жилье. Строители давно ушли, и теперь здесь поселились эксплуатационники, потому что жить было негде. Дом стоял в двух километрах от станции и города Электросталь, на работу и в школу приходилось ходить пешком. Железнодорожники были полурабочими-полукрестьянами. Жалкие зарплаты не давали возможности сводить концы с концами, поэтому все мы разбивали огороды, строили сараи, заводили скотину. Продуваемый насквозь дом-временка не имел ни водопровода, ни канализации, да и электричество провели только в годы войны. Но, несмотря на все трудности, семейство быстро прибавлялось. К 1947 году я был осчастливлен четырьмя сестрами, с которыми до сих пор живем душа в душу. Кроме школы все мои заботы сосредоточивались на воспитании малолетних сестричек, следовавших одна за другой, на заготовке дров на зиму, сена корове и на уходе «за огородом, нашим подлинным кормильцем. В моем отчине крестьянин умер гораздо раньше, чем в других его коллегях, он с неохотой занимался огородно-коровьими делами, кротко сносил упреки матери в бесхозяйственности и полагался на меня, «второго мужика» в семье.

В нашем кругу хорошо учиться считалось непрестижным, почти позорным, мои сверстники рано бросали школу и уходили на работу на завод или в ФЗУ (фабрично-заводские училища). Я же из класса в класс переходил без больших хлопот, пока летом 1941 года не грянула война. Мы, мальцы, давно были убеждены, что «на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Нам были еще неведомы сомнения

в правдивости печатного слова, утверждавшего все время, что мы самые могучие, самые сильные в мире. Нам было непонятно, отчего режут наши матери, почему почернели лица отцов, кутивших одну «козью ножку» за другой. Мы радовались, что враг своим нападением дал нам блестящую возможность показать нашу силу. Откуда нам было знать, что пресса создана больше для вранья, чем для информации.

1941 год стал годом первых крушений иллюзий, годом начала критического отношения ко всему происходившему.

Наших отцов-железнодорожников в армию не брали, они были переведены на казарменное положение и жили в пустовавшем помещении эвакуированной химической лаборатории местного завода, выпускавшего противогазы. В первые же дни малограмотные мужики отыскивали в брошенных незакрытыми шкафах бутылки, колбы с жидкостью, напоминавшей спирт, и, естественно, не удержались от соблазна. Спирт оказался метиловым, несколько человек умерло, а часть ослепла. Это были наши первые собственные «военные» потери.

В тяжелую октябрьскую пору, когда каждую ночь немцы сыпали на нас зажигательные бомбы и сбрасывали вороха листовок с призывами не допускать эвакуации промышленного оборудования, наш дом потрясло трагическое событие. Один из соседей, Кирилл Семкин, работавший сцепщиком вагонов на станции Электросталь, принял после работы стакан водки и начал громко заявлять, что ему не страшен приход немцев, что все равно, при какой власти «жрать дерьмо», пусть, дескать, коммунисты «кладут в штаны от страха».

Наутро его уже не было дома: забрали. Судила его «тройка». Мой отчим как секретарь парторганизации железнодорожной станции был приглашен на суд. Кирилла приговорили к расстрелу и приговор привели в исполнение в 24 часа. Его жена, 29-летняя цветущая Анастасия, осталась с четырьмя ребятишками на руках, старшему из которых, моему ближайшему другу Сашке, было 12 лет. Единственной опорой убитой горем вдове стала наша семья, вернее, мой отчим. Он долго скрывал от нее факт приведения приговора в исполнение, говорил о штрафных батальонах. Анастасия надеялась, помню, даже сажала паука в стакан, веря в народную примету, что если паук соткет в гладкостенном стакане паутину — значит, муж жив, а если нет, то уж... нет. Чтобы семью не выгнали из крошечной комнаты в 12 квадратных метров в нашем железнодорожном доме, отчим убедил начальника станции принять убитую горем женщину на работу. Мы с приятелем Сашкой стали ходить за почасовую оплату на очистку железнодорожных путей от снега.

Закрутилась горькая рулетка войны, выдававшая кому похоронку, кому тяжелого инвалида, кому пропавшего без вести, кому арестованного своими. Как пелось в песне Высоцкого, «кому от Сталина, кому от Гитлера...»

Два года я не ходил в школу: она не работала. Отец пропадал на работе, дома его почти не было видно. Все силы и мысли сосредоточивались на том, чтобы выжить, сберечь сестренку, помочь матери, не дать своей душе расстаться с телом. Нужда заставила меня совершать дальние поездки за хлебом в Горьковскую область, где мы меняли иголки, дешевую бижутерию на муку, пшено, крахмал. Поездки были очень опасными: на крышах вагонов, в товарных составах. Защитой от милиции и уголовников были крайняя тщедушность и мальчишеские слезы. Больше рассчитывать было не на что. Однажды пришлось ехать пару суток, закопавшись в каменный уголь в открытом полувагоне, под непрерывным дождем, но думы о голодных сестренках не давали ни уставать, ни болеть. Зато дома нас встречали со слезами на глазах, как кормильцев-спасителей. Даже отец, смущенно кашляя, одобрительно поглядывал на лоснившийся от грязи мешок с мукой и пшеном и покрикивал на мать: «Наташк, накорми хлебопашца, будет топтаться без толку!» А мать плакала без стеснения, вытирая покрасневшие глаза передником, пришептывая: «Господи, да нешто я послала бы тебя... кабы не жисть эта проклятая... Спасибо тебе, сыночек, спасибо». И трудно было понять,

за что мать благодарит меня: за то, что я привез еду, или за то, что вернулся жив и здоров и снял с нее бремя мучительного страха за жизнь единственного сына. А сам я, как большинство в моем положении, наслаждался «вниманием благодарной аудитории» и рассказывал целый день о бесконечных перипетиях поездки, не жалея красок и порядком привирая.

После пары лет такой волчьей жизни мне было нелегко привыкать снова к школе, куда я вернулся в 1943 году, когда отчим пригрозил применить все доступные меры наказания. Меня окружали чистенькие, упитанные подростки, дети по большей части инженерно-технического персонала завода «Электросталь». У меня появлялись позывы отомстить им за их грамотность, воспитанность, благообразие, но усилиями чудесного педагога Марии Семеновны Мальвиновой (мне везло на учителей!) они были подавлены, и благодаря ей вскоре мне пришлось сидеть в Большом театре и слушать вместе с классом оперу «Евгений Онегин», чувствуя, как по спине пробегает озноб от пения волшебного Ленского-Лемешева. Завелись преданные друзья из благополучных семей. Самым близким был Виктор Рейтблат. Его отец Лазарь Аронович Рейтблат был до войны директором той самой школы, где мы учились; с первых дней ушел на фронт политрабатником и там погиб, оставив жену, учительницу начальных классов той же школы, с тремя маленькими ребятишками. Это была дивная еврейская семья – дружная, интеллигентная и всегда бедная. В самое тяжелое время, когда мне случалось заходить к Виктору, его мать Доба Савельевна всегда находила лишнюю тарелку супа для гостя, хотя свои дети пухли от недоедания.

Виктор давал мне читать книги из библиотеки своего отца. Так я прочитал «Историю гражданской войны в СССР», «Историю колониальных и зависимых стран», «Историю германского фашизма». Под влиянием этих книг я увлекся историей и со временем стал заниматься ею профессионально. Он же привил мне любовь к изучению иностранных языков. Сам он лучше других владел немецким. Помню, как библиотекаря клуба имени Горького в Электростали цепенела от страха и восторга, глядя, как мы копаемся в горах неучтенных книг, оставленных в свое время немецкими специалистами, работающими на заводе. А вскоре я читал в подлиннике «Так говорил Заратустра» Ницше.

Я бесконечно благодарен судьбе за то, что она наделила меня в юности друзьями – людьми образованными, стоявшими выше меня по общему развитию. Мне всегда было с кого брать пример, за кем тянуться. На более поздних этапах эта же судьба, к несчастью, отказала мне в этой бесценной милости.

А какие были преподаватели! Директор школы Виктор Иванович Миловидов, словесник, был мастером по внеклассной работе. Трудно сейчас поверить, что мы ставили под его руководством «Горе от ума», «Вишневый сад». Созданный им школьный хор был просто чудом. Оставшиеся участники его и по сию пору, полвека спустя, собираются и исполняют тот старый репертуар с таким же упоением и страстью. И те же запевалы – Никитина Клава и Бохан Клава.

Незабываем и математик Ирошников Николай Петрович – тощий, очкастый, умный, беспокойный, как Жак Паганель. Отдыхая от математики, увлекался литературой, философией, без конца изобретал каверзные вопросы, на которые мы всем гамузом безуспешно пытались ответить.

1947-й, год окончания школы, выдался для нашей семьи особо тяжелым. Мать ждала рождения четвертой сестры Жени и еле двигалась по дому. Рано кончились запасы своей картошки, от коровы пришлось отказаться из-за нехватки кормов, жили только тем, что получали по карточкам. Я готовился к экзаменам на аттестат зрелости и не мог уезжать надолго из дома. Помогал семье, лишь распиливая сухие суги из ограды огорода и продавая аккуратные вязаночки сухих дров на базаре за кусок хлеба, фунт отрубей или плитку хлопкового жмыха. До слез тронули меня учителя из школы: они тайком собрали в складчину деньги и купили мне абонемент в школьную столовую с правом получения хотя и жидкого, но горя-

чего обеда. Там питались только дети работников «Электростали», но для меня сделали исключение.

Окончив школу с золотой медалью, я шатался от счастья и истощения. «Ура! – орали мы. – Все позади!» – не ведая, что все было впереди. Ради правды надо сказать, что таких материальных трудностей и лишений, как в те годы, мне, к счастью, больше испытать не довелось.

Жизненная дорога круто пошла на подъем. Решение продолжить учебу в вузе было естественным, другие пути даже не рассматривались. Мое сердце больше всего склонялось к карьере юриста. Я не мог еще сказать, хотел ли я стать прокурором – обличителем зла или адвокатом – защитником невинно страдающих, но мне хотелось быть причастным к судьбе и боли конкретных людей. Выбор помогли сделать два человека: мой друг Виктор Рейтблат и постовой милиционер на трамвайной остановке в начале Павловской улицы. Первый поколебал мои планы, предложив податьсь в Институт международных отношений, а второй забил окончательный гвоздь, сказав, что ехать к Московскому государственному институту международных отношений значительно ближе и проще, чем к Московскому государственному университету. В кармане у меня в этот момент лежали два заявления в оба эти учебные заведения.

В те годы еще не свирепствовала эпидемия блата. В МГИМО приняли документы провинциального медалиста без задержек. Экзамен по немецкому я сдал играючи и, выбрав для специализации испанский язык под впечатлением республиканской эпопеи 1936–1939 годов, был зачислен студентом. Выбор был сделан.

Институтские годы в целом остались в моей памяти как тяжелое и неприятное время в моей жизни. Я до сих пор вспоминаю институт с отвращением и никогда не возвращался в его старое здание у Крымского моста. Гнетущее впечатление, что это не храм науки, а карьерный трамплин, овладевало многими, кто попадал в его коридоры и залы. Студенты были трех мастей. Одни, так называемые «зеленошляпники», принадлежали к партийно-государственной элите. В нее входили настоящие «элитники» вроде дочерей Молотова, Косыгина, маршала Жукова, сыновей министров. К ним примыкали представители средней и мелкой служилой интеллигенции. Это была наиболее образованная часть студенчества, из которой впоследствии вышли многие видные дипломаты, ученые, журналисты. Но среди них было немало людей, смолоду зараженных вирусом карьеризма. Особенно неприятными и даже опасными оказывались те, чьи жизненные расчеты явно не обеспечивались способностями и знаниями. Такие молодцы компенсировали свои недостатки повышенной активностью на поприще «общественной работы». Их, конечно, было меньшинство, но своей назойливой крикливостью они искажали лицо тогдашнего мгимовского студенчества и отравляли общую атмосферу жизни.

Второй по влиятельности, но очень тонкий слой составляли бывшие фронтовики. В 1947 году из армии приходили все новые группы демобилизованных, и часть их на льготных условиях поступала в институт. По возрасту они были всего на четыре-шесть лет старше, но по опыту жизни, самостоятельности возвышались над нами, как Эверест. Часть из них не выдержала академических трудностей, но большинство выстояло. Я их глубоко уважал, звал всех «стариками», и среди них остались все лучшие друзья того времени.

Многочисленной, но затюканной, презираемой массой были выходцы из простолюдинов, особенно из провинции. Без влиятельных родителей, без опыта жизни они были тихими зубрилами, которые вели нескончаемую борьбу за выживание. Мне выпала «честь» принадлежать к этому непочетному легиону. Шанс как-то заставить уважать себя крылся только в отличных успехах. Мы не могли позволить себе, как Уинстон Черчилль в молодости, учить только то, что нравилось.

Нашими учителями были самые разные люди. Среди них попадались великолепные профессора: историк Е. В. Тарле, географ Н. Н. Баранский, юрист-международник В. Н. Дурденевский, специалист по древнему миру А. А. Бокшанин, философ П. С. Попов, читавший логику, востоковед Г. Б. Эренбург (однофамилец писателя Ильи Эренбурга). Но полным-полно было серых, случайных преподавателей вроде специалиста по марксизму некоего Лихолата, или отставного дипломата, читавшего курс международных отношений, или академика Иванова и др.

Учебный курс в основном был неплохо спланирован и предусматривал добротное, широкое образование. Тут были и классическая философия, история отечественная и зарубежная, право, литература, политэкономия, экономгеография и т. д. Но сама учеба временами приобретала уродливый характер, превращаясь в начетничество и зубрежку. Я до сих пор помню, что единственную четверку за все время обучения в институте получил за незнание деталей биографии Сталина по курсу отечественной истории. Четверка не огорчила сама по себе, но она означала, что я потеряю 25 % прибавки к стипендии как отличник. Я напросился на пересдачу, три дня как чумной учил жизнеописание вождя и учителя и все-таки провалился опять на каких-то деталях, связанных то ли с его бегством, то ли с законным освобождением из ссылки. По тем временам это было чем-то вроде клейма на лбу. Изучение марксизма не касалось творческой сути как философского учения, а состояло в зазубривании. Скажем, надо было знать семь определений диктатуры пролетариата (по разным работам). Мыслить не учили, иначе мыслить не разрешалось вообще, и всякий отход от линии грозил анафемой и оргвыводами. Огромное количество времени терялось на бесконечное конспектирование бесчисленных трудов классиков.

Чем дальше от политических дисциплин, тем свободнее не только говорили, но и поступали наши профессора. Помню, как один экзаменатор спросил нашего фронтовика, не ответившего по билету по западноевропейской литературе: «Скажите, вы читали «Песнь о Роланде»?» – «Нет». – «Не приходилось ли листать рассказы Чосера?» – «Нет». – «Знаете ли вы, что такое «Ад» Данте?» Опять последовало сакраментальное «нет». Профессор вздохнул, поставил «четверку» в зачетную книжку и сказал: «Завидую вам, молодой человек: вам предстоит в жизни большое счастье открыть для себя столько прекрасного!»

Внеаудиторная общественная жизнь студентов была отравлена премерзостным духом гниющей сталинской диктатуры. Непомерный груз культа Сталина, казалось, сломал хребет нации. Одна за другой кампании морального террора захлестывали наши вузы. Сначала возникло какое-то дело о «моральном разложении» студентов Ленинградского университета. Всякий, кто подозревался в поддержании внебрачных связей, принуждался к немедленной женитьбе или подвергался риску исключения из института по подозрению в неблагонадежности. Глумление над людьми творилось страшное. Достаточно было написать заявление в партком, и «виновного» беднягу немедленно волокли на позорную дыбу – комсомольское собрание. Там его в самой унижительной форме спрашивали обо всем, клеймили и требовали безоговорочной капитуляции. Я не помню случая, чтобы кто-то осмелился защитить себя, он был бы смят и растерзан инквизиторской машиной.

Но самой страшной была кампания борьбы с космополитами. На наших глазах густо мазали дегтем и вываливали в перьях многих любимых преподавателей и профессоров, которых потом высылали в далекую провинцию. Мало того, что моральные казни совершались для устрашения, открыто, при всех, нас заставляли принимать в них активное участие. Обязательно среди выступавших экзекуторов должен был быть представитель «рядового студенчества», и загодя начинались поиски такого хунвэйбина. Чаще всего им становился особо алчущий хорошего распределения «борец за чистоту марксистско-ленинских идей» из числа натужных активистов. Эти люди, как правило, все хорошо устроились после окон-

чания института, а еще через несколько десятилетий из них же вышли самые крикливые «демократы». Нормой их поведения всегда оставался беспринципный оппортунизм.

Время от времени накатывались истеричные волны изучения сталинских «трудов», причем чем ничтожнее был «труд», тем свирепее доказывалось его величие и беспощаднее требовалось его изучение в виде зазубривания. Особенно досталось нам с «Марксизмом и языкознанием», написанным маразма-тировавшим вождем под влиянием гостившего у него на даче летом профессора языкознания из Грузии. Пришлось все без исключения предметы сдавать под углом зрения «идей», изложенных в тощей брошюре.

В отлично задуманном институте, к тому же поселившемся под крышей старого лицейского здания, вход в которое стерегли скульптуры Сократа и Платона, глубоко засел дух карьеризма, тщеславия, шкурничества. Казалось, что здесь собрались не беззаботные студенты в самую красивую пору своей жизни, а маленькие чиновники, которые рано повели борьбу за будущие теплые места, стали искать знакомств и связей, выгодных женитьб и замужеств, рвались очертя голову в партию, куда доступ строго дозировался, стремились к общественной работе лишь потому, что она давала дополнительный шанс попасть на глаза администрации и партийным боссам. Для подавляющего большинства студентов-разночинцев это было неприемлемо и вызывало отвращение.

Я часто задавал сам себе вопрос, как я относился к советской власти, к правительству за все годы жизни. И отвечал: «Рассудительно, критически, без идеологической зашоренности!» Все мое уважение к компартии и ко всем властным структурам проистекало из того, что они олицетворяли в моих глазах государство, Родину. Точно так же, как в давние времена патриот отечества мог на протяжении своей жизни служить трем-четырем различным государствам, различавшимся своими характерами, государственными взглядами. Сам институт самодержавной монархии осуждался большей частью русской прогрессивной общественности, но к топору звали Русь лишь единицы. Большинство честно служили своему народу в условиях достаточно деспотичной царской власти. У меня были и свои особые обиды на советскую власть, обиды, полученные незаслуженно. Боль от них и сейчас саднит сердце.

Зимой 1952 года мы, студенты последнего курса МГИМО, сдавали экзаменационную сессию. Это была последняя сессия. Все уже получили предварительное распределение. Мне, в частности, досталось направление в МИД, куда я сдал соответствующие анкеты. Направление завидное, но ведь я все годы был отличником и к тому же довольно активным комсоргом академической группы.

К экзаменам мы в те времена готовились группами: так было проще и эффективнее. Одна из групп в составе пяти моих товарищей занималась, за отсутствием домашних условий, в здании института. И туда к ним заглянула незваная девица из наших же студенток, смазливая и крайне честолюбивая, давно державшая на них зуб за то, что ей отказали в рекомендации для вступления в партию. Уж как она вела себя там, не ведаю, только в какой-то момент она закатила истерику, завопила, что ее хотели изнасиловать, убежала и изобразила обморок. Надо знать нравы и обычаи того волчьего времени, да еще в таком карьеристски-бюрократическом заведении, как тогдашний МГИМО, чтобы представить себе последствия. Мамаша этой девицы написала письмо министру иностранных дел А. Я. Вышинскому, требуя расправы над «насильниками». И карательная машина заработала. Всех пятерых наших товарищей лишили направлений на работу, а среди них были три ветерана Великой Отечественной войны, у них уже были семьи. Все дело, как выяснилось после моих бесед с пострадавшими, оказалось полной чушью, местью злой, капризной трясогузки. В число пострадавших попал даже парторг группы. Я, комсорг, вроде бы остался за старшую власть и употребил ее, как умел. С помощью друзей мы составили письмо тому же Вышинскому, в котором рассказали все, как было, и просили остановить

инквизиторскую машину. Письмо было подписано всеми студентами группы, кроме одного. Мне и в голову не пришло скрывать свою роль инициатора этого послания.

Велико же было мое удивление, когда пару дней спустя в общежитие института, где я обитал, прибыла черная машина и мидовский чиновник ледяным голосом пригласил меня проследовать за ним. Я как был в лыжном костюме, так и поехал. Без задержки меня доставили в приемную министра и через небольшую анфиладу комнат ввели в его собственные апартаменты. Я аж вздрогнул, увидев по-рачьи согнувшуюся над столом фигуру министра – зловещего Андрея Януарьевича. Мой конвоир-чиновник усадил меня на стул, шепнул что-то министру и вышел неслышной тенью. Минуту-другую меня никто не замечал. Потом Вышинский вдруг вскинул голову, всмотрелся сквозь сильные очки в невзрачную фигуру, одетую в лыжный костюм, и резко рявкнул: «Ну что, доигрались, шпана, хулиганы из Марьиной рощи? Институт опозорили. МИД срамите! Коллективки писать вздумали в защиту насильников! Тоже мне вожак комсомольский сыскался! Недоумки из вас вышли, а не политические работники! А вас еще к тому же кто-то сообразил в МИД на работу рекомендовать. Вы этого не заслуживаете и недостойны! Мы пошлем вас в Сибирь, учителем в школу!»

Мне стало все предельно ясно. От сознания полной безнадежности пришло хладнокровие, я решил прервать поток слов и сказал: «Товарищ министр, ничего страшного в том, чтобы работать учителем истории, нет, а Сибирь ведь тоже русская земля!» Вышинский, мне показалось, даже на секунду опешил от такой наглости, но, машинально поправив нормально сидевшие на носу очки, снова взорвался: «Вы не понимаете, что вы натворили. Если правильно пишет мать пострадавшей, то все ваши подзащитные пойдут под суд, а вы и все, кого вы подбили поставить подписи под коллективкой, понесете партийную ответственность. Надо посмотреть, место ли вам в МГИМО вообще. Идите!» Последнее слово упало резко, как команда в тюрьме. Я поднялся и вышел. Вся беседа длилась, наверное, три-четыре минуты. Чиновник молча провел меня мимо постов охраны и оставил на улице. Никакая машина меня не ждала. «Ну и слава Богу!» – подумалось невольно. Я побрел пешком, размышляя: что бы все это значило, зачем надо было вызывать меня для такого разговора? Наверное, чтобы запугать, застрашать таким коротким, сокрушительным ударом по нашей будущей судьбе.

Наутро я был снят с поста комсорга, получил строгий выговор. Всех пострадавших пятерых товарищей исключили из партии. Это был конец! Наказания остальным были поменьше. Н. Сидоров, секретарь парткома МГИМО, молниеносно созывал послушных членов комитета и после каждого очередного звонка от руководства МИД навешивал новые наказания на шеи «виновных».

Мы, собравшись на квартире одного из товарищей, решили, что терять все равно больше нечего и нужно бороться до конца. Пожаловались во Фрунзенский райком партии на несправедливость. Там секретарем тогда была Е. А. Фурцева. Разбор нашей жалобы превратился в еще одну публичную порку. Все было оставлено в силе. Апелляция в горком партии принесла новые синяки и шишки. Отчаяние наше росло. Приближалась весна, нас могли не допустить к государственным экзаменам. Оставалась последняя надежда – комиссия партийного контроля. Чуть ли не кровью сердца писали мы свою жалобу туда. Никто из нас не был допущен на слушание нашего дела, а вот решение было ошеломляющим: «Все партийные наказания отменить как необоснованные». Ура! Есть, выходит, справедливость! Только ее надо долго и упорно искать! Да здравствует родная коммунистическая партия!

На дворе цвела сирень. Полгода мы провисели на дьявольской дыбе в роли подозреваемых и пытаемых. На торжество в институте уже не оставалось времени. МИД покарал нас по-своему: все навсегда были отлучены от работы в его стенах. Мне не разрешили поступить

в аспирантуру МГИМО по причине «полной бесперспективности как ученого». Ну и плевать на них! Мы весело шагнули в мир – искать свою судьбу в других пампасах.

Мне дали самое унижительное, непрестижное направление на работу в Издательство литературы на иностранных языках, которое размещалось на Зубовском бульваре в здании бывшего приюта для дефективных детей. Определили меня практикантом контрольного редактора с минимальной по тогдашним временам заработной платой – 1200 рублей в месяц. Был выделен кусочек стола в чулане под лестницей, за которым я должен был выполнять норму контрольного редактирования – 10–12 страниц в день. Мне давались два политических текста на русском и испанском языках, а я сравнивал правильность перевода. Делалось это потому, что многие испанцы-республиканцы, работавшие переводчиками, недостаточно хорошо знали русский язык и допускали неточности при переводах. Вылавливать их была моя задача. Серость, скука и бесперспективность такой работы вызывали отчаяние.

Память о каких-то проблесках справедливости не давала мне покоя, и я решил попробовать поступить, вопреки официальному полузапрету, в аспирантуру Института международных отношений, поскольку туда люди шли все же не по распределению, а по конкурсу. Я подал заявление и, еще не имея согласия, явился на вступительные экзамены. Получив «пятерку» по иностранному языку, через пару дней я пришел сдавать экзамен по спецдисциплине (история международных отношений). Вытянув билет, готовился к ответу, уверенный в своих силах, когда вдруг дверь аудитории отворилась и, погромыхая палкой и протезом, ко мне направился тогдашний куратор аспирантуры Леонид Кутаков. Он подошел к моему столу и зло прошипел: «Прошу вас оставить аудиторию. Вы не допущены к вступительным экзаменам. В решении ученого совета института ясно сказано, что вы бесперспективны как ученый». Обида обожгла сердце, но унизиться до разговора с таким верноподданным ученым я не захотел. Собрав все записи, я постарался принять как можно более независимый и гордый вид и вышел, сопровождаемый своим конвоиром.

Память об этом незаконном изгнании и унижительной формулировке ученого совета послужила самым лучшим стимулятором моего интереса к науке. С тех пор прошло 40 лет. Я так и не смог поучиться в аспирантуре, но занимался наукой в свободное от работы время и защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации, написал четыре монографии, две из которых переведены на иностранные языки и изданы за рубежом.

«Ну что ж, издательство так издательство», – решил я. Надо постараться взять максимум возможного из сложившейся обстановки. А взять, как выяснилось, можно было многое. В испанской редакции, где я работал, подавляющее большинство сотрудников были испанцами по национальности, повзрослевшими детьми республиканцев, которых привезли в СССР в разгар гражданской войны на Пиренеях. Мне приходилось с утра до ночи говорить с ними на их родном языке, много работать со словарями, спорить с переводчиками. Незаметно для себя я начал все свободнее пользоваться выученным в институте, но бывшим тогда для меня еще мертвым языком. Вскоре я был принят испанцами в их круг, пил с ними по два раза в день кофе, участвовал во всех делах землячества, получая по ходу дела бесценные лингвистические дары и набираясь жизненного опыта. Я влюблялся в испанский язык, которым, по словам Ломоносова, «с Богом говорить можно».

В один прекрасный день на мою голову свалилось неожиданное счастье. Меня вызвал к себе директор издательства и сказал, что есть возможность закрепить и развить знание испанского языка, поучившись в зарубежном университете. Мне предлагали поехать на пару лет в Мексику стажером советского посольства и в течение этого времени посещать занятия на филологическом факультете университета, чтобы подготовиться к выполнению в будущем обязанностей переводчика для всех случаев жизни.

Он пояснил, что правительство приняло решение направить за границу для языковой учебы 15 человек, разделенных на пять групп по три человека, каждая из которых специа-

лизировалась в каком-нибудь иностранном языке. Группы должны были выехать в Англию, Францию, ГДР, КНР и Мексику, поскольку Испания оставалась закрытой для граждан СССР. Исполнение этого решения было возложено на издательство.

Господи! Для меня эти слова звучали божественной музыкой. Я даже не отказывался для приличия и сразу помчался делать фотографии и выполнять иные формальности. Вся зима 1952/53 года прошла для меня в возбужденном ожидании отъезда. Свои служебные обязанности я выполнял хорошо, но автоматически, выбила меня из нормальной колеи только смерть Сталина 5 марта 1953 г. Скорбь и горе всех моих сослуживцев были неподдельными. Но еще больше нас убивались испанцы. Общественный психоз в те дни вышел из берегов. Миллионы людей рвались к Колонному залу, где, успокоенный наконец, лежал «вождь и учитель».

Вместе с группой ребят из издательства я тоже пролез под военными грузовиками и втиснулся в толпу где-то между Петровкой и Пушкинской улицей. Скоро стало ясно, что никакого продвижения вперед не было, а толпа начала опасно колыхаться на идущем под откос тротуаре. Теснота нарастала, над толпой висело густое облако пара. Кое-где раздавались крики.

Мне стало не по себе, дело явно могло кончиться бедой: я с великим трудом мог пошевелить руками, прижатыми к груди, пуговицы пальто были наполовину оборваны, и полы, захваченные сдавленными телами, тащили меня в пучину человеческого водоворота. Галоши с ботинок давно пропали, и боль от топчущихся на моих ногах чужих сапог становилась нестерпимой. К тому же ноги насквозь промокли. Оставшийся от крестьянской жизни инстинкт самосохранения толкнул меня на единственно правильное решение – отказаться от вроде бы неотъемлемого права взглянуть на покойника. С огромным напряжением я «выгребал», работая локтями, из человеческого моря все ближе и ближе к берегу и наконец нырнул под спасительные военные грузовики.

Придя в себя, я залез в кузов автомашины и взглянул туда, откуда только что выбрался. Там было преддверие ада. Отдельные крики уже сливались в общий вой, края толпы активно размывались, но в центре люди с белыми от страха лицами тщетно молили о помощи. Сделать ничего было нельзя. А в полукилометре на самой Трубной площади в это время разыгралась настоящая трагедия. Сотни людей были сбиты с ног неудержимым потоком толпы и раздавлены. Культ личности уносил с собой в могилу несколько сотен своих последних жертв. Много лет спустя мне довелось познакомиться с Николаем Ивановичем Крайновым, исполнявшим в те дни должность начальника милиции Москвы, а затем разжалованным и исключенным из партии за беспорядки, допущенные при похоронах Сталина. Он рассказывал, что на заседании политбюро, где обсуждался вопрос *«о прощании с вождем»*, он доложил о невозможности силами одной столичной милиции обеспечить порядок и пропустить войска в Москву, чтобы избежать беды. На него зашикали сразу двое – Хрущев и Берия: *«Ты паникер, недооцениваешь политическую сознательность нашего народа и хочешь снять с себя ответственность за выполнение долга»*. Ничего не было сделано, и жизнь быстро доказала, что милиция совершенно бессильна, когда на улицу выходит ее величество толпа. По какому бы поводу эта толпа ни выходила на улицу, она сразу становится всесильной, внушает страх и ужас властям. Остановить толпу можно, только признав ее требования или даже пригрозив ей крупным наказанием.

Я и сам был подвержен общественному психозу, поэтому, придя домой, сменил обувь, соответственно оделся и вновь оказался на Пушкинской площади, намереваясь пройти подвалами или крышами к центру. Долго плутал по грязным катакомбам подземелий, но дороги так и не нашел. К этому времени в город были введены воинские части и все дыры были «заштопаны». Так я и не простился со «стариком Хоттабычем», как я называл Сталина за его капризное всесилие. В момент его помещения в Мавзолей, когда заревели все гудки

заводов, фабрик, средств транспорта, я с группой сотрудников стоял на крыльце издательства со слезами на глазах и думал, что теперь нашей стране будет плохо, совсем плохо.

В конце апреля 1953 года я получил загранпаспорт и отправился в дальнюю дорогу в Мексику. Тогда большинство командированных пользовались только сухопутными или морскими путями. Сказывались еще не изжитые привычки Сталина, который очень не любил самолеты, боялся летать. Привычки вождя становились обязательными для всех чиновников. Именно поэтому в МИД СССР мне купили железнодорожный билет от Москвы до Рима через Вену. Из Рима я должен был местным поездом добираться до Генуи и там сесть на пароход, отправлявшийся в Мексику. Меня это очень обрадовало. Представлялся шанс посмотреть полмира за казенные командировочные.

5 мая 1953 г. я поднялся на борт невзрачного торгового судна «Андреа Гритти», которое везло около 200 итальянских эмигрантов в Латинскую Америку. В крошечном отсеке наверху, претенциозно названном «первым классом», разместилось десятка полтора пассажиров, чей статус был чуть выше эмигрантского. Путешествие изобиловало многими курьезными происшествиями, случившимися со мной из-за искаженности представлений о западном мире у воспитанника большевистско-крестьянской России. Ориентироваться в новой обстановке приходилось, только повинаясь здравому смыслу.

Во время почти месячного плавания от Генуи до Веракруса я впервые завел «несанкционированное» знакомство с иностранцами – тремя латиноамериканскими юношами, одним из которых оказался кубинец, студент второго курса Гаванского университета Рауль Кастро, а два других были гватемальцами. Они возвращались к себе на родину после участия в подготовительных мероприятиях, связанных со всемирными фестивалями молодежи. Все мы были примерно одного возраста, говорили на одном языке, понимали друг друга с полуслова, горели желанием отдать свои жизни служению народу. Мы стали друзьями и, как бы ни была нас судьба потом, какие бы политические вихри не отрывали нас друг от друга, остались верными нашей дружбе. Один из четверки не дожил до наших дней. Он был убит в Гватемале 15 лет назад террористической организацией «Белая рука» за то, что, будучи юристом, защищал интересы рабочих профсоюзов. Его звали Бернарде Лемус.

У Рауля Кастро, единственного из нас, был фотоаппарат, и за время плавания им было сделано немало общих снимков. Когда же настал момент расставания в Гаванском порту, я внезапно для своих друзей потребовал, чтобы мне были переданы все негативы снимков, на которых присутствую я. Сейчас стыдно вспоминать свое поведение. Но еще перед отъездом из Москвы работники кадрового аппарата МИД напутствовали нас: «Не позволяйте себя фотографировать, ваши снимки могут быть использованы для провокаций!» Это был не единственный пещерный запрет, из-за которого молодые советские дипломаты попадали в нелепые ситуации. Муравьиный инстинкт подчинения сделал свое дело. Никакие уговоры на меня не действовали. Пришлось вырезать из пленок часть кадров, которые я, к счастью, не уничтожил, а сохранил на всю жизнь.

Так уж получилось, что при выходе с корабля в Гаване Рауль Кастро и его товарищи сразу же попали в руки политической полиции как члены прокоммунистических организаций. У них были отобраны вся литература и фотоматериалы, которые они везли с собой. Вместе с ними навсегда исчезла и пленка с нашими корабельными снимками, и единственными сохранившимися кадрами оказались как раз те, что остались у меня. Поистине не бывает худа без добра.

Лишь к середине июня наша морская посудина добралась до мексиканского порта Веракрус. Я высадился на землю, которая почти на 15 лет станет моей второй родиной. Описывать ее не буду, скажу только, что правы мексиканцы, когда, не моргнув глазом, говорят: «Такой страны, как Мексика, на земле больше нет!»

Пост посла СССР в Мексике в ту пору занимал Александр Иванович Капустин, который не был карьерным дипломатом. Инженер-механик по образованию и опыту работы, он, по рассказам, был командирован в Тегеран накануне знаменитой встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 году с задачей привести в порядок систему фонтанов на территории советского посольства. С поручением справился нормально. Когда Сталин поинтересовался, кто же поддерживает в тяжёлые военные годы в порядке систему фонтанов, ему ответили: «Есть у нас тут первый секретарь посольства – золотые руки!» Он не замедлил отреагировать: «Таких людей надо ценить!» Эта фраза решила судьбу инженера Капустина. Он был командирован советником в Вашингтон, но, не имея ни опыта, ни знаний для дипломатической работы, занимался административно-хозяйственными делами.

В 1945 году в Мексике произошла трагедия: в авиационной катастрофе погиб советский посол Уманский. На его Место почти без колебаний был направлен А. Капустин. Он провел восемь тяжёлых лет «холодной войны» в Мексике, не вызывая огонь на посольство и отсиживаясь в круговой обороне. Посольство и его квартира были заполнены строгальными, фрезерными станками, он все время что-то мастерил, привел в порядок систему водоснабжения и канализации, обновил электросеть. Сам не гнушался работать Киномехаником, потчюя сотрудников в десятый раз «Кубанскими казаками» или «Свадьбой с приданым». Он искренне хотел передать и мне любовь к технике, терпеливо втолковывал волшебные качества «мальтийского креста» – важнейшей детали кинопроекторного аппарата, но не обиделся, когда стало ясно, что я совершенно не приспособлен к этой науке.

Капустин проникся уважением ко мне, когда получил из Москвы депешу, предписывавшую пристроить меня в соответствии с решением правительства в университет на предмет обучения языку и философии. Он часто беседовал со мной, и его рекомендации обычно были такими: «Изучи внимательно историю и жизнь этой страны, в ней очень много интересного. Во многом они ушли дальше нас. Упаси тебя Бог отвергать чужое только потому, что оно не наше». Спасибо ему за эти отеческие советы, за мудрость умного, работающего человека, случайно попавшего в дипломатию.

Я поступил в университет и стал посещать лекции, семинарские занятия по целому ряду предметов. Пришлось одолеть курс испанской и мексиканской литературы, написать кучу сочинений по языку и много чего другого. Главное, я лез из кожи вон, чтобы заслужить похвалу преподавателей. Мое имя мало кого интересовало в университете, но то, что пришел учиться «русский», было известно всем. Я больше всего опасался бросить хоть малейшую тень на образ «русского человека». Кончилось тем, что я в течение двух неполных лет одолел полный курс факультета философии и словесности, сдал экзамены и получил право на преподавание испанского языка в испаноговорящих школах.

Вновь приехавший посол А. Г. Кулаженков вызвал меня, поздравил с окончанием учебы и распорядился, чтобы впредь я работал как стажер посольства на общих основаниях. Совершенствовать знания мне было разрешено только с приходившим в посольство учителем, бывшим офицером республиканской армии Мартином Иглесиасом, который любил повторять: «Запомни, друг Леонов, наше знание ограничено, наше невежество энциклопедично».

Язык мы с ним изучали просто: читали страницу за страницей о похождениях рыцаря Печального Образа – бессмертного Дон-Кихота Ламанчского и комментировали каждое новое слово, оборот, выражение, пословицу или поговорку. Посольские давно признали меня мэтром в испанском языке.

Так и шла бы моя жизнь маленького посольского чиновника с лингвистическим вывихом, если бы не грела мое сердце память о Рауле Кастро, давно сидевшем в тюрьме на острове Пинос за участие в штурме казарм Монкада, его брате Фиделе, которого я не знал

лично, но которым восторгалась вся молодая Латинская Америка. По прессе, радиопередачам я следил за всеми перипетиями их политической одиссеи, узнал наконец, что они были высланы в Мексику.

Однажды летом 1956 года, устало бредя по улице с покупками в руках, я увидел группу скромно одетых молодых ребят, оживленно разговаривавших. Я невольно остановил свой взгляд на одном из них и ахнул: «Да ведь это же Рауль!» Но я боялся ошибиться и окликнуть. Тем временем группа поравнялась со мной и прошла дальше, не прекращая завидно веселой беседы. Уже порядком отойдя, я все же оглянулся и встретился глазами с тем парнем, также смотревшим на меня. Я не сдержался и закричал: «Рауль, ты ли это, дружище?» Ноги легко понесли меня к нему, да и он почти бежал навстречу.

Домой я летел на крыльях. (Я теперь мог чихать на все и на всех.) Я наконец встретил своего друга – героя Монкады. Мне одного этого хватило бы на много-много лет. Он не забыл дать мне свой адрес, а я не забыл взять его. Это было залогом, что мы встретимся еще.

Считая знакомство и дружбу с Раулем исключительно личным делом, я не сказал ничего ни послу, ни советнику, хотя знал, что по тем временам меня по головке за это не погладили бы. Мне казалось, что мое положение полустудента-полустажера дает мне определенную свободу.

Некоторое время спустя я побывал у Рауля в его квартире. В тот день он был болен, и около его кровати сидел симпатичный молодой человек, с живейшим интересом рассматривавший меня, как пришельца из других миров. «Это Че Гевара, – сказал Рауль, показав глазами в его сторону. – Он считает себя врачом и взялся вылечить меня от гриппа, но, по-моему, он пришел раздобыть свежих сигар, которые нам только что прислали друзья с Кубы». Легко вскочив с кровати, Рауль порылся в дальнем углу и вернулся с дюжиной очень длинных, грубовато свернутых, домашнего изготовления сигар. Многие из них имели необрезанные концы, которые живописно лохматились табачными листьями. Гевара тут же закурил одну и еще несколько сунул в нагрудный карман рубашки. Общими усилиями мы заставили Рауля забраться под одеяло, и потекла безбрежная беседа обо всем, что произошло между 7 июня 1953 г., когда мы расстались в Гаванском порту, и июлем 1956-го, когда судьба вновь свела нас на торговой улице города Мехико. Че подробно расспросил меня, чем я занимаюсь в посольстве, попросил достать ему книги о советском характере, точно назвав, к моему удивлению, «Чапаяева», «Как закалялась сталь» и «Повесть о настоящем человеке». Я обещал, смутно вспоминая, что где-то в посольстве я видел на пыльных полках эти книги на испанском языке. Достав из кармана свою визитную карточку, я протянул ее Геваре со словами: «Спросите у дежурного, и меня сразу разыщут».

Встреча с Раулем и Че потрясла меня. Они говорили о политике как о дороге к смерти или бессмертию, за простыми словами чувствовалась полная отрешенность от забот о своем «я», абсолютная их поглощенность делом революции. Они мне не рассказывали о своих конкретных планах, но не скрывали, что будут бороться против диктатуры Батисты до конца. Как разительно отличалось это от нашей болтовни на политические темы в протертых креслах третьеразрядного посольства! До сих пор мне не приходилось встречать людей, так глубоко верящих в правоту своего дела. Я знал о самоотверженности русских раскольников, о негибавшем мужестве декабристов, наконец, на памяти были коммунары, рожденные нашей революцией и гражданской войной, встававшие под расстрел и шедшие под казачьи шашки, но заражавшие своей отвагой целую нацию и пугавшие врагов презрением к смерти. Мои новые друзья были им сродни. Люди в моем привычном окружении совсем не были похожи на них. Когда я возвращался домой, у меня четко сформировалось убеждение: «Они могут погибнуть, но станут национальными героями!»

Через пять-шесть дней Че Гевара в стареньком пиджачке и странно выглядевшей в Мексике серенькой кепке с длинным козырьком, отчего походил на нашего рабфаковца 20-х годов, пришел в посольство, разыскал меня и горячо благодарил за полученные книги. Для обстоятельной беседы у него не было времени, и мы условились собраться как-нибудь потом, в другой раз, созвонившись с Раулем. А этот «другой раз», когда мне пришлось увидеть Гевару, был уже после победы кубинской революции, через четыре года.

Прошло всего несколько дней, и однажды утром, раскрыв газеты, я похолодел. На первой полосе «Эксельсиора» я увидел крупный заголовок «Арест кубинских заговорщиков», а под ним фото, на котором я сразу же узнал Рауля, его друзей, милую добрую хозяйку дома Марию-Тересу. Прочитав статью, я узнал, что агенты Батисты выследили Фиделя и часть его группы, донесли обо всем правительству, и оно потребовало от мексиканцев принятия мер по предотвращению подрывной деятельности. У Фиделя и его товарищей были отобраны оружие, снаряжение, боеприпасы.

Вскоре и для меня начались кое-какие осложнения. При обыске в доме Гевары ищейки обнаружили мою злополучную визитную карточку, и им померещилось, будто они поймали «волосатую руку Москвы». В том же «Эксельсиоре» под интригующим заголовком «Идя по следу» борзописцы вскоре стали плести несусветную чушь о моей принадлежности к мифической секретной службе МИВ (просили не путать с КГБ) и т. д. Так я оказался отмеченным связью с «заговорщиками», «путчистами», как в то время называли Фиделя Кастро и его товарищей не только мои коллеги по посольству, но и многие коммунисты Кубы, которые не воспринимали новые формы борьбы против диктатуры Батисты. С окончательным штампом на биографии «не годен к несению дипломатической службы» я вскоре был по решению посла откомандирован на родину во избежание каких-либо осложнений. Для пущей гарантии, чтобы я не наделал глупостей в дороге, в сопровождающие мне дали, ни много ни мало, советника посольства Михаила Фроловича Черкасова, который благополучно отконвоировал меня поездом до Нью-Йорка, а дальше на крупнейшем по тому времени лайнере «Куин Элизабет» до Англии, откуда на родной «Балтике» добрались до Ленинграда. Слава Богу, из-за сохранявшейся боязни самолетов опять удалось посмотреть полмира.

Но поездка не оказалась безмятежной. Переход через Атлантику совпал с самыми драматическими днями венгерских событий октября 1956 года, когда советские войска вошли в Будапешт. На корабле вокруг нас создалась очень напряженная обстановка, я впервые почувствовал, что такое бойкот. Под дверь каюты ежедневно «любезная» рука подсовывала публикации об ужасах венгерских событий, в столовой вокруг нашего столика образовалась полянка, соседи перебрались подальше, а потом вообще решили не входить в зал, пока там будут русские. Пришлось отомстить: я стал затягивать время обеда и действовать им на нервы. Так же мы вели себя в кинозале, на палубе. Русские оказались непробиваемыми, «бойкот» бил по бойкотирующим, но удовольствие от путешествия было, конечно, испорчено.

Вообще, насколько приятна была поездка из Москвы в Мексику в 1953 году, настолько же, а может, и более омерзительным оказался путь обратно. Даже в сонном консервативном Стокгольме пришлось пережить неприятные минуты. Выйдя в город во время стоянки корабля и побродив по улицам, мы вдруг поняли, что заблудились. Попробовали узнать у прохожих дорогу в порт, спрашивая по-английски и по-испански, но не тут-то было, никто нас не понимал. Наконец я громко и смачно выругался по-русски. И вдруг впереди шагавший человек остановился и спросил на родном наречии: «А вам куда нужно?» – «В порт!» – закричали мы радостно. «Нам почти по пути, пойдемте, я провожу вас», – услышали мы в ответ. Незнакомец сначала начал расспрашивать о Союзе, резко комментируя наши ответы. Мы стеснялись поначалу, а потом стали отвечать по принципу «око

за око». Дискуссия перешла в перепалку, и на подходе к порту мы были на волосок от драки. Хотя мы были признательны эмигранту-перемещенцу за то, что он вывел нас в порт, но, когда он вдогонку крикнул: «Вон ваша плавающая тюрьма!», я от души пожелал ему сгнить на чужбине среди предателей родного народа.

Приезд в Москву и возвращение на работу в Издательство литературы на иностранных языках не принесли никакой радости. Меня встретили тот же темный с зарешеченными окнами «кабинет» под лестницей, невероятная теснота столов с кипами наваленных рукописей, повышенная норма выработки – 14–16 страниц контрольного редактирования и 1500 рублей зарплаты. Прямо как в сказке о рыбаке и рыбке: та же избушка и то же разбитое корыто. Мне стало невыносимо скучно от неизменности кислого подлестничного бытия. Никому не было дела до моего «заграничного» образования. Правда, меня вскоре избрали секретарем комсомольской организации издательства, говорили в глаза, что я являюсь «перспективным работником», но я решил твердо переменить свою жизнь. Под предлогом невероятной скученности я выхлопотал для себя право работать дома, тем более что переводческая и редакторская работа не требует обязательного присутствия на службе. За один нормальный рабочий день я легко выполнял трех-четырёхдневную норму, а свободное время мог использовать по своему усмотрению.

Я стал готовиться к поступлению в аспирантуру в один из институтов системы Академии наук. В науке вообще сохранялись какие-то демократические порядки. Ученые степени и звания присуждались все же в результате тайного голосования на ученых советах. Обсуждения работ велись открыто. Выбор тем для исследования в большой степени зависел от самих ученых, особенно в гуманитарных отраслях. В советское время нередко уходили в науку, как раньше уходили в монастырь, чтобы максимально отдалиться от превратностей и треволнений общественно-политической жизни. Убежище не было совершенно безопасным, но все-таки оставалось убежищем. И чем дальше был предмет исследований от советской действительности, тем больше было шансов у ученого на относительно спокойную творческую жизнь.

Будучи в Мексике, я часто ходил по букинистическим магазинам, приучился работать в библиотеках и хранилищах печати. Привез оттуда много книг. Среди них было немало монографий и документов по определенным темам, одна из которых и стала темой моей кандидатской диссертации. Меня увлекла история борьбы мексиканского государства с католической церковью в XIX–XX веках. Финальной фазой этой борьбы была жуткая гражданская война 1926–1929 годов, получившая название «восстание кристерос», когда темная крестьянская масса поднялась по призыву церковников на войну с правительством. Наверху шла борьба за власть в стране, за реальное влияние на государственные дела, а внизу это выливалось в кровавые расправы с учителями, государственными чиновниками, нападения на маленькие гарнизоны с поголовным уничтожением сопротивлявшихся, массовую организацию крушений поездов и т. д. Войска отвечали не менее дикими репрессиями в виде групповых расстрелов бунтовщиков, массовых казней через повешение и т. д. Одним словом, как всегда бывает при борьбе за власть, паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

Я думал и дальше углубляться в пласты латиноамериканской истории, поскольку судьба практически не оставила мне других путей.

Работу приходилось вести дискретно, чтобы не раздражать издательское начальство своими дезертирскими настроениями. Наверное, все было бы хорошо и летом 1957 года я бы пошел по «ученой стезе», но новая неожиданность поломала все планы.

В июне 1957 года я получил повестку из военкомата с предписанием явиться на учебные сборы офицеров запаса сроком на полтора-два месяца. Какая досада! Эти месяцы как раз совпадали со сроком сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру. С военкоматом спорить бессмысленно, ибо на все аргументы солдафоны отвечали: «Если хочешь гово-

рить со мной – молчи!» Когда собрались все новоиспеченные призывники, я удивился, увидев многих бывших однокашников – выпускников МГИМО. Среди них не было только тех, кто поступил работать в солидные учреждения – ЦК КПСС, МИД, КГБ. Собрались те, кто осел в издательствах, органах печати, организациях культуры и т. д.

Нас привезли в Тулу, помыли в санпропускнике и выдали солдатскую форму с погонами младших лейтенантов и с прикрепленным значком парашютных войск.

Вскоре удалось выяснить, что тогдашний военный министр, крутолобый Г. К. Жуков, выдвинул идею захватить в случае войны вражеские ракетно-ядерные базы в Европе путем выброски на них крупных парашютных десантов. Для этой цели каждой боевой авиадесантной части должны быть приданы группы военных переводчиков. Так и собрали нас, знатоков иностранных языков, с целью обучить боевому десантированию, а заодно и действиям в составе боевых диверсионных групп. Военная метла собрала нас в лагерях 100-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расположенной в 30 верстах от Тулы.

Жизнь в парашютных частях особая, дух необычный. Все мы быстро отпустили усы – так полагалось по традициям подчеркивать элитарность своей части. Воспитательные приемы несколько отличались от рекомендаций Песталоцци и Макаренко. Всякого, кто отказывался от службы в ВДВ и боялся надеть на себя парашют, отдавали на воспитание старослужащим. Они будили его ночью, выводили труса на учебный плац, привязывали к тренажеру и бешено крутили до тех пор, пока он не клялся прыгнуть с любого летательного аппарата. Страх перед повторением этой операции, как правило, пересиливал страх перед прыжком в бездну.

Помню, как один из наших мгимовских выпускников, работавший в тбилисской газете «Заря Востока», не выдержал напряжения и убежал из лагеря. Его искали целый день по окрестным деревням и обнаружили к ночи рыдающим в лесном овраге. Можно было заплакать, глядя на жалкого человека, испуганного до смерти. Когда его вели в лагерь, он был похож на дезертира, которого ждала свежевыкопанная могила на лагерном плацу. Расправились с ним иначе: исключили из партии и отправили домой.

Я к превратностям судьбы отнесся с крестьянским фатализмом: надо – значит, надо. Исправно выполнил всю программу, рассчитанную на семь прыжков разной сложности, совершал вместе со всеми положенные марш-броски, научился рассчитывать и готовить взрывчатку для диверсий, «снимать» часовых, питаться консервами из вспухших банок и всякой иной солдатской премудрости.

В общем, все завершилось для нас благополучно, и мы с песнями вернулись в Москву при отросших усах, с закаленной волей, с чувством превосходства над «гражданскими крысами», а я еще и с окончательным решением любой ценой уйти из издательства.

Первые шаги в разведке

За окном стоял 1958 год. Страна давно уже оплакала Сталина и начала забывать его. Нам было стыдно вспоминать, что столько лет мы не представляли себе жизни без «великого и мудрого вождя», в искреннем горе и страхе за будущее проливали слезы в день его кончины. Мы были наркотированы упорно вбивавшейся мыслью о том, что существующий порядок вещей является единственно возможным, что у него нет альтернативы. Лишь XX съезд коммунистической партии, слегка приоткрывший доступ к кладовой мрачных преступлений Сталина, послужил началом выздоровления нашей памяти и совести. Теперь и страна, и люди становились другими. Самое главное – исчез страх перед неожиданным арестом и бесследным концом. Физический террор отошел в прошлое. В общественном сознании он был осужден как преступление против народа, и никакое правительство уже не могло вернуться к нему. Появились и признаки раскрепощения духовной жизни. Мы зачитывались «Не хлебом единым» Дудинцева, впервые прозвучало вскоре имя Солженицына. Одним словом, всю шла «оттепель».

Я по-прежнему работал в Издательстве литературы на иностранных языках, активно занимался комсомольской работой – был секретарем комитета комсомола и членом Фрунзенского райкома ВЛКСМ. К этому времени уже поступил в заочную аспирантуру Института истории Академии наук по курсу истории Латинской Америки, чтобы со временем полностью посвятить себя научной работе. Партийная карьера меня не привлекала. Я успел насмотреться на партийных боссов разных рангов, и они внушали мне отвращение.

И вот как-то весной меня вызвали в отдел кадров издательства. Инспектор, кивнув на сидевшего за столом невзрачного человека, сказал: «Вот, с тобой хотят поговорить». И тут же выскользнул за дверь. Мы остались одни. Человек достал из кармана красную книжечку с вытесненными золотом буквами «КГБ» и тихим, спокойным голосом стал расспрашивать о моей работе, планах, здоровье. А потом просто заявил: «Мы за вами наблюдаем давно, люди о вас отзываются хорошо, предлагаем вам перейти на работу в КГБ, а конкретнее – в Первое главное управление. Подумайте до завтра, если примете предложение – позвоните и приходите в отдел кадров». Я молча кивнул в знак согласия.

Беспокойная ночь тянулась долго. Аргументы «про» и «контра» громоздились в мозгу, налезали друг на друга, сложившаяся вроде стройная пирамида их внезапно рушилась и превращалась в бесформенную грудку. Главное, что сдерживало, – это принадлежность разведки к КГБ, за которым упрочилась дурная слава репрессивного органа. Разумом я понимал, что разведка, созданная в 1920 году, была первоначально задумана как прямое продолжение карательных органов, как карающая рука ВЧК, направленная против русского белогвардейского движения, которое эмигрировало за рубеж после неудачной для него гражданской войны. Но ведь с тех пор прошло много времени, давно изменились цели разведки. Уже с 1929 года работа против германского фашизма и его союзников стала главной заботой разведки. А после второй мировой войны СССР превратился в великую мировую державу, за ним стояло целое содружество социалистических государств, разведывательные задачи превратились в глобальные. Они почти не несли запаха репрессий, как в начале 20-х годов. Лишь отдельные террористические акты, проводимые против военных преступников эпохи второй мировой войны, напоминали о преследовании предателей за границей. После убийства С. Вендоры в 1959 году в Германии карательные функции разведки отмерли.

В 1958 году мне, как и многим моим сверстникам, было присуще чувство принадлежности к государству, к обществу, за которыми будущее. Мы выиграли чудовищно трудную войну, непостижимо быстро восстановили разрушения, обрели ядерное оружие, стояли на пороге выхода в космос. Жизнь действительно становилась лучше год от года. Хрущев

повернул в какой-то степени внимание государства к нуждам народа. Впервые началось массовое строительство жилья, производство товаров потребления. Мы смело кидали вызов капиталистическому миру, утверждая, что в мирном соревновании мы непременно победим. Никита Хрущев в США бросил слова: «Мы вас закопаем!», а в программе коммунистической партии записал: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Все трагичные издержки нашей истории после 1917 года были списаны на счет «культы личности», и думалось, что с этим покончено.

Теперь, в новых обстоятельствах, мне стало казаться неразумным хоронить себя в тиши библиотечных кабинетов и заниматься лишь историей чужих народов и стран. Куда заманчивее принять вызов судьбы и отдаться активной работе, острой и опасной, чтобы помочь Отечеству стать могучим и процветающим. Вирус честолюбия не беспокоил меня, спокойно воспринималась мысль о том, что разведчик обрекает себя на безвестность, вечную анонимность.

Наутро решение созрело. Жребий брошен: я иду в разведку! К зданию на Лубянке я подходил не без трепета. В памяти моей с этим зданием не ассоциировалось ничего хорошего.

Вспомнилось, что в 1952 году, когда я заканчивал Московский государственный институт международных отношений и все мы с нетерпением ждали распределения, с одним моим приятелем приключилась беда, связанная с этим зданием. Кто-то из его знакомых недругов решил подшутить над ним, позвонил вечером по телефону и сказал: «Вам звонят из КГБ. Мы здесь рассматриваем ваши документы на предмет использования у нас на работе. Прошу вас приехать сейчас, пропуск заказан в подъезде № 3, спросите у часового». Приятель обомлел, он забыл спросить фамилию звонившего, этаж и номер кабинета. Но послушаться не посмел. Сел в метро и около 11 часов вечера вошел в подъезд № 3 и стал спрашивать у часового о пропуске. Тот, ничего не поняв, вызвал старшего по наряду, который, в свою очередь, пригласил незадачливого визитера в караульное помещение и всю ночь выяснял его личность, цели прихода в КГБ и пр. Лишь к утру исстрадавшийся приятель был отпущен с миром и смог успокоить не менее настрадавшуюся мать.

Я знал все реквизиты своего вербовщика, без труда нашел его, и начался процесс оформления в кадры разведки. Мне было объяснено, что, прежде чем начать работать, надо пройти курс специального обучения в разведывательной школе длительностью два года. Каждому, кого зачисляли на учебу, устанавливали тот уровень зарплаты, который он получал на последнем месте работы. Повсеместно нарушавшийся принцип «от каждого – по способностям, каждому – по труду» в разведшколе вообще был забыт. Разница в содержании слушателей достигала 300 %. Все зависело от того, откуда ты пришел на учебу: в самом выигрышном и привилегированном положении оказывались наши коллеги, пришедшие в офицерском звании из органов КГБ. Гражданские штафирки, вроде меня, стояли на низшей ступеньке.

Учебный курс начался 1 сентября 1958 г. на засекреченном объекте под Москвой. Поток наш насчитывал около 200 человек. Подавляющее большинство курсантов должно было составить пополнение разведки, но часть предназначалась в контрразведку, к пограничникам, в местные органы государственной безопасности. Все кандидаты должны были отвечать главным кадровым требованиям: быть безусловно «преданными делу коммунистической партии», обладать крепким здоровьем и иметь приемлемые способности к изучению иностранных языков. Никакого тестирования психики, проверки силы и быстроты реакции интеллекта не проводилось.

Повальное засекречивание всего и вся приводило к тому, что подавляющее большинство зачисленных в разведшколу до первого сбора 1 сентября в актовом зале не имели точного представления, на что они дали согласие в ходе предварительных бесед. Им говорили, что они идут на важную и ответственную работу, и все. Задавать вопросы, проявлять любо-

пытство вообще не было принято. Это могло кончиться отчислением из списка кандидатов. Поэтому первая встреча с начальником школы генерал-майором Грядневым для многих оказалась шоковой. Его слова о разведке, об условиях работы за кордоном, о риске и т. д. привели к тому, что сразу же два-три человека подали рапорт с просьбой освободить их от такой чести. Удерживать их не было никакого смысла. Остальные еще долгое время ходили в каком-то придушенном состоянии. В головах людей стоял опоэтизированный литературно-кинематографический образ разведчика, и многие понимали свою полную неспособность когда-либо приблизиться к этому образу.

Молодость, природный оптимизм, общество таких же цветущих товарищей быстро сделали свое дело. Мы жили оторванно от семей, на казарменном положении в красивом, заросшем лесом поместье, откуда выезжали в Москву только на субботу и воскресенье.

Программа подготовки включала изучение марксизма-ленинизма. Тогда усвоением этой «науки» занималось все население Советского Союза практически в течение всей жизни. К. зазубриванию основных постулатов люди относились как к заучиванию расхожих молитв. Затем следовало изучение иностранного языка. Занимались им истово, под руководством хороших педагогов. Но методики преподавания были антикварными, никаких аудиопомощников не было. Фильмы на изучаемых языках были крайней редкостью. Все лингвистические высоты брались только пролетарским упорством.

Спецпредметы, то есть собственно разведывательные дисциплины, такие, как «вербовка агентуры», «связь с агентурой», «специальная оперативная техника», «наружное наблюдение» и пр., преподавали бывшие разведчики, исчерпавшие свой потенциал по различным причинам.

Много внимания уделялось спорту, хотя материально-техническая база для этого была просто жалкой. Приходилось нажимать летом на бег, зимой на лыжи. Маленькую лесную полянку приспособили под футбольное поле, и там азартно колотили друг друга по ногам, закаляя характер и волю. Отдых душе давали в традиционной русской бане.

Весь контингент слушателей был разбит на отделения, 10–15 человек каждое, под командой полковника-воспитателя. Он отвечал перед вышестоящим начальством за нашу успеваемость, политическую безупречность, моральную устойчивость. Одним словом, за все.

Все призванные под знамена разведки молодые люди были уже сложившимися гражданами. Каждый имел высшее образование, гражданскую или военную профессию. Таково было правило, ибо жизнь в разведке сопряжена с немалым риском: тебя могут выслать как персону нон грата, может расшифровать какой-нибудь предатель, ты можешь подхватить какую-нибудь зарубежную хворь, которая станет препятствием для дальнейшей работы. На этот случай человек должен иметь запасные позиции в виде его первоначальной профессии. Почти все, за редким исключением, были семейными. Холостяки в те времена вообще с большой неохотой отпускались за границу из-за опасений, что их жеребьячья невозддержанность может привести к беде.

И тем не менее среди этих проверенных, образованных в массе своей людей нет-нет да и происходили так называемые чрезвычайные происшествия, приводившие к отчислениям из школы. Основная часть ЧП была связана со злоупотреблением алкоголем. Суббота и воскресенье всегда оставались самыми опасными днями. Случалось, что загулявший с приятелями слушатель не приходил в установленное время к автобусу, ожидавшему в конспиративном месте, и не являлся в понедельник на занятия. Бывало, какой-нибудь гуляка затевал препирательства с милицией и оказывался вообще за решеткой. А такой исход был почти гарантирован, когда потерявший самоконтроль курсант доставал свое удостоверение Комитета госбезопасности и начинал угрожать «возмездием» охранителям общественного порядка. Это в сталинские времена три буквы «КГБ» внушали страх всем, в том числе

и милиции, а теперь частенько сотрудники КГБ становились объектами реванша. Одним словом, наши руководители заранее планировали такую «усушку» и «утруску» в размере 5–8 %.

Слушатели были очень неоднородными по своей подготовке. Приехавшие из провинции оказывались обычно на голову ниже своих столичных сверстников, выходцы из среды сотрудников госбезопасности отличались подчеркнутой дисциплинированностью и усердием в учебе, гражданские были, безусловно, эрудированнее и подготовленнее для работы за рубежом. Кое-кто из последних, вроде меня, уже успел поработать за границей и прилично знал один иностранный язык, а в школе изучал второй по собственному выбору. Но в целом, спаянные чувством общей судьбы, курсанты держались дружно, внутренние конфликты между ними были крайне редки. Многие остались друзьями на всю жизнь.

Мы быстро и глубоко втянулись в классные занятия, ставшие рутиной. Но когда наступала пора так называемых «городских занятий», эмоциональный накал достигал высшего уровня. В ходе этих занятий слушателям приходилось делать все, как в боевой обстановке в чужом городе. Экзаменуемый стоял какое-то время на открыто просматриваемом месте с ясным опознавательным признаком, например с газетой, свернутой в рулон, в левой руке. Это делалось для того, чтобы бригада наружного наблюдения могла со скрытых позиций идентифицировать человека и установить за ним квалифицированную слежку. Затем в течение отведенного времени слушатель должен был завершить любую цепь естественных, хорошо связанных разработанной легендой действий, чтобы обнаружить за собой наружное наблюдение «противника», установить численность работавшей против него бригады, выявить ее автомашины и описать все это в своем отчете. У нас не было автотранспорта, что сильно усложняло решение задачи, но эта своеобразная игра в кошки-мышки необыкновенно возбуждала. Вхождение в образ разведчика, оказавшегося под наблюдением спецслужб, у одних вызвало растерянность, выражавшуюся в запутанности действий, у других, наоборот, стимулировало повышенную четкость, расчетливость, у третьих провоцировало агрессивность, грубость в поведении.

Задания с каждым разом усложнялись. Сначала надо было после выявления наружного наблюдения незаметно, естественно «оторваться», ускользнуть от него. Затем провести под наружным наблюдением, но обязательно незаметно для наблюдающих передачу малогабаритных материалов предполагаемому «агенту», с которым заранее отрабатывались все детали операции по приему-передаче. К тому же сделать это надо было так, чтобы у следовавших по пятам сыщиков не возникло даже тени подозрений, что «агент» имеет какое-то отношение к разведчику. Потом требовалось «обработать тайник», то есть заложить либо изъять материалы из тайника, опять-таки действуя под наружным наблюдением. Таким заданиям нет конца, в ходе их отрабатываются все элементы реальной разведывательной работы. Помнится, каково было облегчение, когда удавалось по неопровержимым признакам установить, что слежка за тобой действительно идет. Теперь хозяином положения становился разведчик. Используя богатый арсенал тактических элементов, он, как рыбак, постепенно подтягивал к себе подсеченную на крючке рыбу, выявляя всю бригаду наружного наблюдения.

И нет ничего хуже, чем не видеть «противника». В этом случае разведчик никогда не знает наверняка, есть за ним слежка или нет. Вероятно, ее просто нет, а может быть, он ее не видит? Понадеяться на авось – значит провалиться на практике; до бесконечности сомневаться – значит подвергать свою психику опасному перенапряжению. Начнут мерещиться преследователи там, где их нет, а отсюда один шаг до срыва.

В подавляющем большинстве случаев мы справлялись с задачами вполне успешно. А сколько было восторженных рассказов о хитроумных приемах раскрытия слежки, изобретательных уходов от нее! Вообще надо сказать, что овладение специальными дисциплинами,

то есть техническим инструментарием разведчика, шло успешно. Гораздо сложнее обстояло дело с изучением иностранных языков. Начинать учить чужой язык впервые в жизни в 30-летнем возрасте – дело малорентабельное. Свободного владения им достичь практически невозможно. Поэтому и в школе, и потом, в разведке, подлинное, раскованное владение языком было редкостью. Большинство без затруднений объяснялись, понимали содержание высказываний собеседника, относительно свободно читали, но все-таки не улавливали многих нюансов, теряли скрытый смысл, не понимали регионализмов, сленговых выражений и т. д. Мне было проще, я в 1953–1956 годах успел побывать в командировке в Мексике, а в Издательстве литературы на иностранных языках моим постоянным окружением были испанцы-переводчики, редакторы, корректоры, с которыми мы говорили только на их родном языке. Я и сейчас теплею сердцем, когда вспоминаю этих милых, добрых невольных учителей моих.

Еще хуже обстояло дело с общеполитической, страноведческой подготовкой будущих разведчиков. Почему-то никому в голову не пришло включить в программу подготовки курсы «Современная внешняя политика», или «Внешняя политика Советского Союза», или «Основные региональные проблемы современности». Куцые курсы страноведческого профиля давали элементарные справочные знания. Мы не изучали и не знали внешней политики тех стран, куда готовились ехать на работу. В школе не было профессоров-политологов, специалистов-международников, социологов, юристов. Не было и соответствующей литературы, пособий. Практически вся информация ограничивалась читкой газет. Эта зияющая прореха в учебных программах давала о себе знать на протяжении всей жизни выпускника школы. Такая «черная дыра» превращала разведывательную школу в ремесленное училище, выпускавшее специалистов в лучшем случае средней квалификации. Наиболее способные продолжали свое образование уже во время практической работы, а большинству это оказывалось не под силу. Окончить полный курс разведывательной школы мне не удалось, хотя в моем личном деле и подшит диплом, свидетельствующий о том, что я «с отличием» завершил учебу. Едва начался второй год обучения, в один из октябрьских дней 1959 года меня пригласил начальник школы и сказал, что меня вызывают в Кремль к начальнику Девятого управления КГБ, который ведал охраной руководства партии и правительства и держал свою штаб-квартиру непосредственно в Кремле. Шеф «девятки» встретил меня покровительственно и сказал, что намечена поездка тогдашнего первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Анастаса Микояна в Мексику в качестве личного гостя посла СССР для открытия выставки достижений советской науки и техники. Столь необычный визит не предполагал никакой свиты, но и без охраны не положено было отпускать члена политбюро, каковым был почти всю жизнь Микоян. Вот и возникла мысль послать меня в двух качествах: личного переводчика и личного охранника.

Я заметил, что никогда в жизни не был ни тем, ни другим и вряд ли справлюсь с поручением. Но мне не дали рассуждать долго, сказали, что вопрос давно решен, что моего знания страны и языка достаточно, а как охраннику мне надо только всегда быть рядом и в случае чего прикрыть собой Микояна. Оружия, слава Богу, мне не навязывали.

Поездка была в известной степени загадочной. Второе или третье лицо в государстве летело за океан в качестве личного гостя посла с пустячной вроде бы целью – открыть выставку достижений советской науки и техники в Мехико. Мексиканцы недоумевали, что могло привести столь высокого гостя в их широты. Они составили для него изматывающую программу, включавшую посещение города Монтеррея на севере, нефтяных промыслов около Поса-Рики, нефтеперерабатывающих предприятий в южном штате Табаско. Микоян все выносил стоически, горстями ел огненный мексиканский перец, не меняя выражения лица, месил в полуботинках тропическую грязь, глотал сухую пыль северных пустынь. И даже когда в личной беседе президент Мексики Лопес Матеос больно уколол

Микояна, рассказав, как непристойно и агрессивно ведут себя мексиканские коммунисты, и попросил «угомонить» их, он не сумел выбить старого большевика из седла. Анастас Иванович старательно пытался пробить традиционный закоряченный панцирь советско-мексиканских отношений и вывести их на новый широкий простор.

Обстановка была благоприятная. Десять месяцев назад «барбудос» вошли в Гавану, и революционное правительство Фиделя Кастро все больше и больше оглядывалось по сторонам в поисках возможных союзников в неотвратимо надвигающемся конфликте с имперскими амбициями США. События в Карибском бассейне соответствовали представлениям сторонников доктрины о нарастании национально-освободительного движения, которое трактовалось как резерв международного коммунистического движения, возглавлявшегося коммунистическими и рабочими партиями. СССР чувствовал себя просто обязанным оказать этому движению посильную помощь и поддержку. Возникновение острой болевой для США точки в Латинской Америке могло оказаться стратегическим выигрышем для СССР, который со времени создания НАТО был окружен американскими союзниками и военными базами. А. Микоян, по-видимому, хотел посмотреть на месте, насколько вероятно и посильно для нас укрепление позиций СССР в непосредственной близости от южных границ США.

Мексика традиционно была настроена настороженно по отношению к США. Настороженность, связанная с исторической болью от утеранных в XIX веке территорий, от многократных вторжений, питалась глубоко проникшими в сознание народа патриотическими антигринговскими настроениями. И это отчетливо увидел Микоян.

Но в то же время нельзя было не понимать, что геополитическая привязанность Мексики к США, полная зависимость во внешней торговле, взаимное сращивание деловых кругов не давали Мексике большого простора для политического маневрирования. «Бедная Мексика: она так далеко от Бога и так близка к Соединенным Штатам» – эти слова многолетнего президента-диктатора Порфирио Диаса лишь подчеркивали историческую обреченность этой страны.

Мексиканцы сделали вид, что не поняли зондажных заходов Микояна. Его поездка должна была бы кончиться ничем, если бы внезапно в столице не появился специальный посланник гаванского правительства, совсем мальчик, Эктор Родригес Льомпарт, который от имени Фиделя Кастро попросил по окончании предусмотренного срока экспозиции в Мехико перебазировать выставку достижений в Гавану и пригласил А. Микояна на Кубу. Так начались первые контакты на высоком уровне между Москвой и революционной Гаваной.

Поездка в Мексику сразу выделила меня из общей массы слушателей разведшколы. На экранах появился документальный фильм об этой поездке, вожди очень уважали саморекламу, а поскольку я постоянно маячил за спиной у Микояна, то меня стали принимать за важную персону. А тут еще в школу пришел приказ из Министерства обороны о том, что мне присвоено звание «лейтенант». Никто не мог понять, почему младшему лейтенанту КГБ очередное воинское звание присваивает Министерство обороны. Пришлось бы каждому рассказывать, что, как я уже писал, в 1957 году, еще будучи обыкновенным офицером запаса, был призван на два месяца на офицерские сборы-переподготовку и т. д., и т. п., и за это был вознагражден изменением военной специальности (вместо штабного писаря стал воздушным десантником) и вот, как выяснилось, повышением в звании. Теперь я стал кадровым военным, а не серой гражданской мышью.

Не прошло и двух месяцев после возвращения Микояна из Мексики, как меня снова затребовали в Кремль. Наступил, правда, уже 1960 год, за окном трещали крещенские морозы, а в совминовских покоях хозяйничали мягкая ковровая теплота, благоуханное порхание чинных секретарш, сейфовая загадочность и угрюмость везде торчавших охранни-

ков и караульщиков. Меня провели в кабинет А. И. Микояна, которому в ту пору шел 65-й год. Это был невысокий угловатый человек, довольно сухой в общении, говоривший по-русски с плохой дикцией. Но я уже знал его после поездки в Мексику. Он был на редкость целеустремлен, при этом хитер и изворотлив, как истинный представитель Востока. За плечами имел самый сложный жизненный путь, умудрился благополучно обойти все головоломные и смертельно опасные повороты в течение 1917–1959 годов. Это о нем потом будет сочинен каламбур: «От Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича». И в самом деле, от Ленина до Брежнева никому, кроме Микояна, не удалось пройти дистанцию, не потеряв головы и с минимальным числом штрафных очков.

Его очень тяготили воспоминания о сталинском периоде нашей истории, о его роли в тех событиях. Даже перед нами, своими временными помощниками, он старался обелить, елико возможно, себя, подретушировав свою биографию. Он рассказывал, что, когда его назначили в 1938 году наркомом внешней торговли, он обратился к Сталину и попросил создать компетентную комиссию, чтобы разобраться с кадрами и оставить только тех, кто не вызывал никакого сомнения. «Товарищ Сталин, я хочу, чтобы после моего прихода на пост наркома прекратились аресты сотрудников и были сняты все подозрения относительно самого наркомата». Сталин обещал и свое слово сдержал. Слушая это, мы удовлетворенно кивали, давая понять, что одобряем задним числом такую человечность и справедливость.

Поощряемый нашим вниманием, он вспоминал, что когда в Ленинграде возникло известное дело об очередной антипартийной группе и под расстрел пошел бывший руководитель ленинградской партийной организации Кузнецов, то он со страхом сообразил, что его собственный сын Серго, в ту пору студент третьего курса МГИМО, был помолвлен с дочерью казненного Кузнецова, студенткой того же института. Вновь пришлось идти «по личному вопросу» на поклон к Сталину. Микоян жмурил глаза, всматриваясь в тьму ушедших годов, наверное, ему виделся Коба. Он говорил, почти обращаясь к нему: «Товарищ Сталин, обращаюсь к вам как кавказец к кавказцу. Все мы знаем, что произошло в Ленинграде. Кузнецов понес заслуженное наказание. Но что делать, если мой сын и его дочь были задолго до того помолвлены, любят друг друга. Прошу вас, дайте согласие на их брак, помогите сохранить традиции и обычаи предков». И Сталин милостиво разрешил Серго Микояну жениться на дочери «предателя партии».

И уж совсем разойдясь, Микоян вспоминал про политбюровские мальчишники на ближней кунцевской даче, где в последние годы почти безвыездно жил Сталин. «Число членов политбюро всегда было нечетным, – рассказывал Анастас Иванович, – а обедать садились за прямоугольным столом, придвинутым к стеклянной двери, выходившей на балкон, в комнате второго этажа. Оставался свободным один торец стола. Сидевший за ним смотрел прямо в балконную дверь. На этом месте всегда сидел самый нелюбимый член политбюро, судьба которого висела на волоске. Сталин, боявшийся покушения, полагал, что если что-то и произойдет, то первой жертвой станет тот, кто сидит прямо напротив окна. По мере изменения своего расположения к людям он менял их места за обеденным столом, но все последние месяцы жизни Сталина роковое место занимал Микоян.

Таких рассказов было много, но их тональность не менялась: важно было сформировать у нас мнение о нем как об оппоненте Сталина. Надо сказать, что частично он своей цели добился, и лишь когда мне попались на глаза документы о массовых репрессиях, в том числе решение политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле польских военнопленных офицеров, завершенные микояновским «за» с собственноручной подписью, тогда все встало на свои места. «Политика – грязное ремесло», – говорил А. М. Горький.

Впоследствии, когда мне (опять-таки в качестве переводчика) приходилось слышать Никиту Хрущева, я узнал, что сам Никита хотя и держал Микояна в политбюро и правитель-

ственной верхушке, но до конца никогда не доверял ему. Припомнился его рассказ о том, что Хрущев взял лично на себя обработку Микояна накануне решительного заседания политбюро, где планировался арест Л. Берии. Он даже сам заехал за ним на дачу, чтобы довести его в своей машине и не дать возможности увильнуть. В ходе самого заседания Микоян сидел рядышком с Хрущевым и лишь самым последним выдал из себя слова, свидетельствовавшие о том, что он присоединяется к большинству, потребовавшему ареста Берии...

Я вошел в кабинет А. И. Микояна, пожал протянутую сухую руку и сел за приставной столик, приготовившись выслушать задание. Он начал речь издалека:

– Правду ли говорят, что вы знакомы с братьями Кастро?

– Конечно, знаком. С Раулем – с 1953 года, до штурма казарм Монкады, а Фиделя встречал в Мексике в 1956 году, незадолго до отплытия экспедиции на яхте «Гранма».

– Да, да... – выигрывая время для формулировки неприятного вопроса, протянул Микоян. – А чем вы можете доказать, что вы с ними знакомы?

Тут мне пришлось рассказать о том, как я впервые был направлен в командировку в Мексику весной 1953 года и как познакомился с Раулем Кастро. Естественно, я упомянул о сохранившихся у меня фотографиях как документальных свидетельствах моего знакомства с Раулем. По просьбе Микояна я принес дорогие памятные мне негативы. Из них было велено изготовить фотоальбом. Микоян сказал, что принято решение политбюро, в соответствии с которым ему надлежало выехать в ближайшие дни в Гавану, где он должен был открыть ту самую выставку, которую он уже открывал в Мексике. Выставка, разумеется, была предложением. Главное заключалось в том, чтобы установить контакты с новым кубинским руководством, с лидером революции Фиделем Кастро и принципиально определить характер и пути налаживания советско-кубинских отношений, разорванных диктатором Ф. Батистой в 1952 году. Микоян предложил мне сопровождать его в качестве переводчика. Он не скрывал, что рассчитывал на мои знания о Кубе, о революции, на мои дружеские связи с руководителями Кубы, полагая, что они помогут создать доверительную обстановку в ходе предстоящих контактов и переговоров. На такое дело меня долго уговаривать не надо было, я согласился сразу же. Моя лингвистическая неуверенность после визита в Мексику испарилась. Мне там даже подарили полное собрание сочинений никарагуанского поэта Рубена Дарио с надписью «Электронному переводчику... и т. д.» К тому же я был не один, летел напарник – сотрудник МИД Альберт Матвеев.

В деловой подготовке поездки я участия почти не принимал, помог только купить в комиссионных магазинах кое-какие подарки. Вся делегация состояла из одного Микояна, на помощь которому на всякий случай из Мексики был вызван советский посол в этой стране В. И. Базыкин. Всю долгую дорогу через Исландию и Канаду Микоян читал двухтомник Э. Хемингуэя, явно пополняя литературную эрудицию в надежде встретиться с великим писателем, проживавшим на Кубе. Наконец наш Ил-18 стал снижаться над Гаваной. Мы прилипли к иллюминаторам. Нас ждала встреча с революцией.

Блажен тот, кому довелось увидеть в своей жизни звездный час народа, который победил тирана и без меры пил хмель свободы и счастья. Все в этом народе сияло радостью, доброжелательностью, и в то же время он отличался строгим достоинством. Хотя бороды можно было носить только участникам боев в горах Сьерра-Маэстра, любой уважающий себя мужчина старался обзавестись если не бородой, то хотя бы бороденкой. Имеющееся оружие свидетельствовало о принадлежности к особой касте – дарителей свободы. Девушки в ладных оливковых костюмах выглядели куда привлекательнее, чем в традиционной одежде. И все кругом пело, смеялось, покачивало бедрами, похлопывало по плечам. Казалось, в любой точке столицы и страны в любое время суток можно было слышать волнующие звуки «Марша 26 июля», он гремел повсюду. Хотя внешне не соблюдалось никакого

порядка, во всем тем не менее был какой-то строго детерминированный смысл. Беспорядка не было – это уж точно.

Когда Микоян вышел из самолета, его душа не могла не дрогнуть. Перед трапом колыхалась огромная толпа, которая не делилась на привычные компоненты: руководство, министры и дипкорпус, встречающая публика, почетный караул и т. д. Все было перемешано, лишь в центре возвышалась фигура Фиделя, похожего на матку в растревоженном пчелином рое.

Кое-как соблюдая формальности, хозяева и гости уехали в резиденцию, причем Микоян, вопреки правилам безопасности, занял переднее сиденье рядом с шофером, чтобы лучше видеть город и людей. Так началась первая официальная встреча советских и кубинских руководителей. Визит длился несколько дней и был перенасыщен эмоциями, программа формировалась на ходу под влиянием интуиции, одна неожиданность громоздилась на другую. Посол Базыкин, подавленный полным отсутствием протокольного порядка, старался только не отстать физически от стремительно перемещавшейся группы Фиделя и Микояна. Для поездки по стране было решено использовать советский вертолет, присланный в качестве экспоната на выставку. Авиация, оставшаяся в наследство от Батисты, была совершенно изношена и не внушала доверия. Наскоро собранный и едва опробованный вертолет, ведомый летчиками-новичками в кубинском небе, дважды стал причиной беспокойства. Сначала летчики, у которых не было навигационных карт, чуть было не потерялись в просторах Карибского моря, имея в баках горючего всего на 30 минут. Фидель, большой знаток архипелагов, усеявших южное побережье Кубы, заметив грозившую опасность, сам поднялся в пилотскую кабину и лично был лоцманом, требуя беспрекословного выполнения указаний.

Затем, когда мы попытались приземлиться на дощатой платформе около охотничьего домика Фиделя в Лагуна-дель-Тесоро, расположенного на сваях в заболоченной местности, вертолет проломил слабое покрытие и чуть было не погрузился в вязкую трясины. Лишь опыт пилотов позволил им вырвать машину из ловушки и высадить пассажиров из подвешенной в воздухе машины.

Нигде нас не ждали чопорные банкеты. Мы ужинали той рыбой, которую только что сами выловили в лагуне, или ехали на обед в рабочую столовую дорожных строителей, где подавали только отварной рис с корнеплодами. Спать приходилось не в гостиничных съютах, а на бетонном полу недостроенного кемпинга, кутаясь в солдатские шинели и согреваясь время от времени душистым крепким кофе, равного которому нигде в мире нет.

Да и самые главные переговоры состоялись не за столом, а глубоко ночью на пешеходных мостках охотничьего домика под бычий рев гигантских тропических лягушек и звон комариных полчищ. Именно там было решено установить дипломатические отношения и дать зеленый свет торгово-экономическим связям.

Моя самонадеянность переводчика получила сильный щелчок по носу. Мне стало впервые ясно, что когда две стороны не могут или не хотят договориться, то они обе ищут виновного в переводчике. В один из трудных моментов я даже стал апеллировать к послу Базыкину, единственному, кто владел и русским, и испанским языками: «Скажите, я точно перевожу? Или нет?» Посол вместо ответа мягко подталкивал меня в спину, приговаривая: «Переводите! Переводите!»

Из последующих рассказов я узнал, что с другим переводчиком в более драматических обстоятельствах происходили коллизии посложнее. В дни октябрьского ракетного кризиса в 1962 году, когда тот же Микоян вел тяжелые переговоры с кубинцами о поисках путей выхода из кризиса и стороны временами плохо «слышали» друг друга, однажды Че Гевара достал пистолет и положил его на стол, сказав переводчику: «Я бы на вашем месте пустил себе пулю в лоб!» Это было отражением того, что стороны как певцы в неладно скроенной

опере, не слыша друг друга, пели каждый свою партию, а виновным в непонимании оказывался переводчик...

Наш визит закончился очень успешно. Были заложены основы долголетнего сотрудничества. Микоян остался доволен. Нам он говорил: «Да, это настоящая революция. Совсем как наша. Мне кажется, я вернулся в свою молодость!» Было видно, что он околдован кубинской революцией.

Вспоминая об этом теперь, спустя десятилетия, приходится признать, что, если бы кубинская революция не нашла в лице Микояна в те годы очень авторитетного и влиятельного покровителя, который до конца своей активной политической жизни отстаивал советско-кубинскую дружбу, многое пошло бы иначе. Никогда в Латинскую Америку – ни до, ни после – не ездил с политической миссией столь высокопоставленный коммунист и государственный деятель. Протокольная поездка А. Н. Косыгина на 150-годовщину майской революции в Аргентину в 1960 году не в счет. Независимо от политических и экономических расчетов, Микоян прикипел душой к Кубе и вообще к «пылающему континенту», как любили журналисты называть тогда Латинскую Америку. Сын Микояна, уже упоминавшийся Серго Анастасович, не без влияния отца бросил свои увлечения историей Пакистана и Индии и на долгие годы окунулся в латиноамериканскую проблематику, став основателем и главным редактором журнала «Латинская Америка» в Москве.

На короткое время я вернулся к занятиям в разведывательной школе, но там на меня уже смотрели как на «священную корову». Никто с меня не взыскивал за плохо подготовленные задания, я был освобожден от обычных уставных обязанностей. Преподаватели поглядывали на меня даже с некоторым страхом, а коллеги – с восхищением. Удача, казалось, распростерла надо мной свои мягкие невидимые крылья.

Сам я относился ко всему происходившему как к активному участию в некоей азартной политической игре. Внешняя сторона: поездки в Кремль, встречи с тогдашним начальником разведки А. М. Сахаровским, внимание прессы и товарищей по учебе – меня не трогала совсем. Вскоре мне пришлось выполнить первое самостоятельное поручение.

После всей информации, привезенной Микояном с острова Свободы, Никита Хрущев твердо решил воспользоваться благоприятно сложившейся ситуацией, чтобы закрепить образовавшуюся в Карибском море болевую для США точку. Представлялся реальный шанс отплатить Соединенным Штатам той же монетой, которой они пользовались в отношении СССР с конца второй мировой войны. До появления стратегических межконтинентальных ракет с ядерным оружием американская дальняя бомбардировочная авиация и флот были главными факторами, обеспечивавшими стратегическое превосходство США над СССР. Все основные административные и промышленные центры СССР находились в пределах досягаемости американских авиации и ВМС. Собственная территория Соединенных Штатов оставалась неуязвимой для средств поражения, которыми располагал до середины 50-х годов СССР. С какой бы радостью США навечно закрепили такое положение! Это и была голубая, хотя и немудреная, мечта политиков Вашингтона – располагать всегда возможностью безнаказанно, безответно наносить военные удары по любым своим противникам в любой точке мира!

Однако какое же уважающее себя государство может согласиться с ролью провинившегося ученика, над которым в любую минуту может быть учинена телесная расправа? Мысль о возможном ответном ударе не выходила из голов советских руководителей все послевоенное время. Покойный Маршал Советского Союза С. Ф. Ахромеев однажды рассказал, что после речи Черчилля в Фултоне (1946 г.) И. Сталин распорядился изучить вопрос о формировании и размещении на Чукотском полуострове армии вторжения на Аляску. Эта акция рассматривалась как вариант возможного возмездия, ответа на вероятные военно-воздушный и военно-морской удары. Армия должна была насчитывать около 1 млн человек. Ука-

зание Сталина было исполнено, и офицеры Генерального штаба провели соответствующую работу. Расчеты показали невероятно высокую стоимость создания и содержания в боевой готовности такой крупной группировки в суровых, пустынных условиях Приполярья. И Сталину, при всем его необузданном волонтаризме, пришлось посчитаться с критериями возможного. От плана создания арктической армии отказались. И вот тогда родилась другая идея – сформировать в центре Европы, на оккупированной части Германии, мощный кулак бронированных сил, которые стали бы противовесом постоянно возрастающей воздушной и морской угрозе со стороны США. Правда, такой кулак не достал бы ни при каких условиях территории США, но их позициям в Европе он угрожал основательно. С годами мощь бронетанковых соединений Советской армии на территории созданной в 1949 году Германской Демократической Республики выросла и достигала в разное время около 40 тыс. машин разных классов и предназначений.

Теперь, после победы на Кубе национально-освободительной революции, свергнувшей диктаторский режим явно проамериканского ставленника Ф. Батисты, появилась возможность, пусть даже теоретическая, создать хоть небольшой военный противовес Соединенным Штатам в самом Западном полушарии. Конечно, речь не шла в то время о каком-либо размещении советских военных баз в Новом Свете. Хрущев хотел лишь оказать посильную помощь в вооружении кубинской армии, чтобы она могла противостоять самостоятельно любым попыткам агрессии со стороны союзников или наемников США. Разумеется, это была политика «острия против острия», поскольку все политические, экономические и военные усилия Соединенных Штатов были брошены на то, чтобы не допустить вооружения строптивого Кастро.

В мае 1960 года стало известно, что военный министр Кубы Рауль Кастро выехал в Чехословакию в надежде закупить там часть бывшего трофейного немецкого вооружения, оставшегося после второй мировой войны. Меня вызвал к себе начальник разведки и сформулировал первое боевое задание. Оно состояло в следующем: надо выехать в Прагу, остановиться в доме представителя КГБ и найти способ, не обращаясь ни в коем случае к чехословацким товарищам или к посольству СССР, установить контакт с Раулем Кастро, использовать для этого только личное знакомство с ним. В случае установления контакта передать Раулю Кастро, что Никита Хрущев лично приглашает его прибыть в Москву для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

Столь необычный способ установления контактов между руководителями государств меня не смутил. Я знал, что советское посольство в Гаване еще не функционировало в полном объеме. К тому же у кубинцев еще не было системы безопасной шифросвязи, а посол Кубы в Москву пока не прибыл. Для помощи мне был придан «дядька» – опытный старый полковник разведки, но это оказалось излишним.

Приехав в Прагу, я ознакомился с обстановкой и выяснил, что задача не столь проста, как казалось. Главная трудность заключалась в том, что Рауль Кастро был постоянно окружен сильной охраной, ездил по городу и стране без предварительно опубликованной программы, жил в особняке в закрытом для посторонних районе. Мой «дядька-наставник» выглядел растерянным. Наконец после некоторого раздумья был избран самый простой план. Решили, что я буду сидеть на городской скамеечке на улице, по которой обязательно должен пройти кортеж машин, направлявшихся к резиденции. Расчет был на то, что Рауль узнает меня и остановится. А дальше предполагалась любая художественная импровизация. Так и сделали. Я устроился на скамеечке (поближе к часу, когда Рауль должен был ехать на обед) с громадным пакетом свежей черешни в руках. Душа радовалась сочной ягоде после долгой русской зимы и стылрой, запоздавшей в тот год весны. Не помню, сколько черешни я успел съесть за долгое ожидание на пустынной улице, но с тех пор на черешню больше и смотреть не могу. Наконец появился кортеж черных автомашин. Я на него глядел намаг-

ниченными глазами, и, наверное, оттуда также смотрели на странного одинокого человека с большим пакетом в руках.

Внезапно голова колонны резко затормозила, из «татры» вышел Рауль Кастро и искренне удивленно спросил: «Николай, ты что здесь делаешь?» Я также «удивленно» ответил: «Господи, какая неожиданность! Я приехал сюда посмотреть игры спартакиады, присел отдохнуть – и, надо же, такая приятная встреча!» Конечно, я был приглашен в машину, и мы направились в особняк. Там, насколько мог, я объяснил чехословацкой охране, кто я, каким образом мы знакомы, даже пришлось показать свой дипломатический паспорт. Какое-то успокоение наступило, но чехи не спускали с меня глаз.

Улучив момент, когда Рауль повел меня, чтобы вручить сувенир, я шепнул ему, что приехал вовсе не случайно и имею поручение пригласить его в Москву. Он сразу посерьезнел, ответил, что должен посоветоваться с Гаваной и даст ответ через два-три дня. А пока просил меня присоединиться к его делегации на правах старого друга. Мне пришлось побывать на заводах, в винных погребах за Мельником, на спортивных сооружениях.

Чехи принимали посланца кубинской революции достаточно сдержанно, переговоры о продаже оружия вели, упорно торгуясь за каждый цент. Меркантильный расчет явно перевешивал идеологическую близость. Что делать? Кто-то рассказывал, что еще во время второй мировой войны чехи производили почти одну треть вооружения для гитлеровских армий, а свой протест выражали, в частности, работая в черных костюмах, то есть делали пушки, надев траур по тем, кого эти пушки должны были убить.

Через два дня Рауль получил «добро» на поездку в Москву. Для меня это означало полностью выполненное задание, и я с легким сердцем стал собираться в дорогу. Два с половиной часа полета Ту-104 из Праги в Москву прошли незаметно: мы с Раулем вспоминали о давно минувших временах, я с большим интересом слушал его рассказы о революционной войне. Мы даже как-то забыли о той пропасти, которая теперь разделяла нас с протокольной точки зрения. Мне об этом сразу же напомнили родные советские чекисты.

Из самолета мы вышли почти рядом. Внизу у трапа его ждала толпа маршалов, генералов в серо-золотой амунии. Я не успел разглядеть лиц, как чьи-то крепкие руки схватили меня и потащили под брюхо самолета. Рауль оглянулся назад и, увидев меня в окружении дюжих молодцев, только успел крикнуть: «Николай, увидимся обязательно!» Это меня спасло, потому что какой-то охранник, передовик соцсоревнования, уже успел больно ткнуть меня в бок пудовым кулачищем.

Первый приезд Рауля Кастро в Москву оказался полезным. Были достигнуты первые принципиальные договоренности о поставках оружия и направлении советников, прежде всего из числа находившихся в Москве испанцев-республиканцев, которые прошли школу нашей армии и имели за плечами опыт второй мировой войны. Обо всем этом мне стало известно позже со слов друзей. Военные же наши чрезвычайно ревниво следили за тем, чтобы все их переговоры переводили только свои, военные переводчики. Они полагали, что от этого их секреты станут еще секретнее.

За успешное выполнение первого боевого задания я получил премию в виде месячного оклада, равного 150 рублям, меня освободили от сдачи выпускных экзаменов в разведывательной школе, и я был выпущен в самостоятельную жизнь с редким в практике школы повышением – старшим оперуполномоченным.

В то время под мощным влиянием кубинской революции во всех советских ведомствах, так или иначе занимавшихся внешними делами, шло формирование новых структурных звеньев, ориентированных на защиту этой революции. В Академии наук родился план создания научно-исследовательского Института Латинской Америки, претворенный вскоре в жизнь, в МИД формировался отдел стран Латинской Америки, в разведке также от единого американского отдела отпочковался латиноамериканский. Куба заставила иначе взглянуть на весь

континент, который до этого традиционно занимал последнее место в системе приоритетов политики советского руководства.

Я пришел в разведку в новый отдел и стал сразу же руководить кубинским направлением, в котором был и начальником, и единственным работником. Передо мной были поставлены две задачи: 1) наладить работу со всей агентурой, имевшейся на Латиноамериканском материке и располагавшей возможностями для сбора информации о подрывных действиях против революционной Кубы, и 2) подобрать среди ветеранов и опытных сотрудников госбезопасности группу людей, которые могли бы быть использованы в качестве советников и консультантов по нашим профессиональным вопросам. Я горячо занялся своим новым делом, но мое прошлое переводчика и лично знающего кое-кого из нового кубинского руководства часто и надолго отвлекало от прямых обязанностей.

В ноябре 1960 года в Москву приехал Че Гевара с группой специалистов с задачей разместить на рынках социалистических стран не менее 2 млн т кубинского сахара. К этому времени американо-кубинские разногласия зашли далеко, и торгово-экономическая блокада острова стала не угрозой, а реальностью. Поскольку я был знаком с Че Геварой, меня попросили поработать переводчиком. Я знал этого выдающегося человека с лета 1956 года, когда встречался с ним в Мексике. Мне навсегда запомнились необыкновенная лучистость его глаз, тихая, мягкая речь, в которую были отлиты четкость мысли и твердость убеждений. Я с радостью согласился.

Никита Хрущев сделал все, чтобы миссия Че Гевары не сорвалась. Он собрал всех представителей социалистических стран, которые находились при Совете Экономической Взаимопомощи в Москве, и предоставил Че Геваре возможность убедить их в необходимости социалистической солидарности и закупки кубинского сахара. СССР сразу же согласился закупить 1200 тыс. т, оставалось разместить 800 тыс. т. Переговоры с другими странами шли без большого энтузиазма, но и без непреодолимых трудностей. В итоге рынок для кубинского сахара был обеспечен.

Если меня не подводит память, то Че Гевара был первым после похорон Сталина иностранцем, который поднялся на Мавзолей Ленина на Красной площади 7 ноября 1960 г., туда, где всегда по праздникам находилось советское руководство. Помню, мы стояли с ним, дрожа от стужи, на гранитных трибунах около Никольской башни, когда подошел посыльный от Н. Хрущева и пригласил Че Гевару проследовать на трибуну Мавзолея. Че наотрез отказался, считая такую честь незаслуженной. Но посыльный вскоре вернулся с очень настойчивым приглашением. Пришлось уступить и уважить хозяев праздника.

Вечером в гостинице «Советская», где остановилась делегация, Че отогревался жидким кофе, рассыпая направо и налево шутки, остроты. Так, он обратился к официанту, принесшему кофе, с вопросом:

– Скажите, что это такое?

– Как что? Кофе, – удивился тот.

– А вы не расскажете, как его готовят? – лукаво улыбаясь, продолжал Че.

– Просто, – доверчиво лез в расставленную ловушку официант, – берем стакан воды, доводим ее до кипения и кладем в него чайную ложку кофе.

– О Господи, для настоящего кофе надо брать в обратной пропорции: на стакан кофе чайную ложку кипятка, – завершил Че под хохот собравшихся. У него была манера никогда не прибегать к назидательным сентенциям.

Вспоминается, как он боролся с распространенным в то время среди революционеров злом – неумением распределить и использовать свое время. Однажды ему пришлось в полном одиночестве выехать на переговоры в Министерство внешней торговли только потому, что к назначенному часу у выхода из отеля, где должна была собраться делегация, никого не оказалось. К вечеру он отозвал меня в сторонку и попросил на следующий день организо-

вать для всей делегации посещение кабинета В. И. Ленина в Кремле, уговорившись предварительно с экскурсоводом, чтобы в ходе экскурсии основное внимание было уделено борьбе Ленина за дисциплину среди руководства партии и правительства. Так и сделали. Надо было видеть лица его сотрудников, когда они слушали рассказ о том, что за первое опоздание Ленин наказывал виновного, независимо от его положения, выговором, за второе – материальным штрафом, а затем могло последовать и увольнение. После этого дисциплина в делегации не вызывала нареканий.

Русские люди по своей природе очень гостеприимны. Для них великая честь, когда их дом посещает дорогой гость. Мы пригласили Че Гевару от имени группы работавших на Кубе и ради Кубы в других странах на товарищеский ужин в домашней обстановке. Долго выбирали квартиру, потому что все жили более чем скромно. Остановились на квартире Александра Ивановича Алексеева, который, независимо от своих должностей (а он прошел путь от корреспондента до посла СССР в Гаване), оставался надежным и эффективным связующим звеном между Фиделем Кастро и Н. Хрущевым. Тогда его семья занимала скромную квартиру в помпезном высотном доме на Котельнической набережной. Хозяйкой вечера была его милая умница жена Татьяна Васильевна. Сколько она вложила души и старания в сервировку стола, трудно вообразить. Но каково же было наше отчаяние, когда Че, увидя все икряно-рыбное богатство, скромно сказал: «Сеньоры, а я из-за астмы не ем ничего рыбного. Как жаль, что вы зря старались!» Он сел, перевернул вверх дном свою пустую тарелку и, увидев на дне фирменный знак известного фарфорового французского завода, воскликнул: «А я и не знал, что пролетарии едят на севрском фарфоре». Все замерли от такой прелюдии. Че, заметив некоторое замешательство, улыбнулся широко, обезоруживающе: «Не смущайтесь, пожалуйста, помогите мне побороть смущение. Я ведь впервые в русском доме».

Тяжелые вериги свалились с души, и потекла взволнованная беседа, в которой преобладали две темы. На наш настойчивый вопрос, устоит ли кубинская революция, Че ответил: «Я не знаю, устоит ли она. Слишком велики силы, движущие ее вперед и противостоящие ей. Могу только с определенностью сказать, что если она окажется в опасности, то я ее не оставлю, возьму автомат и пойду на баррикады, буду драться до конца. Если же революция погибнет, то не ищите меня среди людей, спрятавшихся в иностранных посольствах, бегущих на кораблях или самолетах в изгнание. Вы найдете меня среди ее погибших защитников. С меня хватит печального опыта гибели в 1954 году гватемальской революции. Другого я не хочу».

Тогда я услышал единственный раз его рассказ о невероятном эпизоде. В июне 1954 года, уже после того как город Гватемала был занят наемниками Кастильо Армаса, завербованными и подготовленными ЦРУ, а законный президент страны полковник Хакобо Арбенс укрылся в мексиканском посольстве, в ночь, когда перепившиеся от радости наемники праздновали «победу», группа этих гуляк вошла в одно из «веселых» заведений. Увидев среди клиентов двух молодых людей в форме кадетов военной школы, бандиты начали куражиться и издеваться над ними. Угрожая оружием, они принудили растерявшихся кадетов раздеться догола и плясать под гогот собравшихся на шум скандала девиц и хмельных посетителей. Глумление продолжалось долго. Давно уже в военной школе прозвучал сигнал вечернего отбоя и отхода ко сну.

Когда наконец утомившиеся вояки разрешили кадетам убраться с глаз долой, на часах было далеко за полночь. Ворота школы встретили своих припозднившихся воспитанников крепкими засовами. Разбуженный звонком часовой не решился нарушить уставной порядок и поднял с постели начальника. Старый служака-полковник, выслушав рассказ вконец расстроенных кадетов, пришел в ярость: «Да как смеет эта рвань оскорблять честь и достоинство гватемальского солдата? Трубите подъем! Мы им покажем!»

Через час колонна курсантов в полном боевом снаряжении в сопровождении броневика вступила в город. До самого рассвета кадетские патрули обходили рестораны, значные места, притоны, собирая и доставляя на площадь очумевших от перепоя и мало чего соображавших наемников. Построив плененное воинство на площади, полковник обратился к нему, протрезвевшему на рассветном холодке, с краткой речью: «Вы, сукины дети, помните, что ваша победа – это результат политических интриг! Вы свергли коммунистов, но вы не победили профессиональную гватемальскую армию, потому что она объявила нейтралитет и не воевала с вами. Если вы забудете, кто вы такие, то мы, армия, напомним вам об этом!» С этими словами он приказал снять с наемников брючные ремни, срезать пуговицы со штанов. Когда все это было проделано, колонна вояк, придерживавших штаны руками, проследовала «торжественным парадом» мимо того вертепа, где несколько раньше наемники издевались над кадетами.

После этого акта мщения все вернулось на круги своя. Полковник увел курсантов в школу, наемники разбрелись по своим «частям». Лишь с началом нового дня поставленные в известность Кастильо Армас и посол США поняли всю опасность происшедшего. Начальник школы был немедленно отправлен на первый оказавшийся вакантным пост военного атташе за границу, наемники собраны под одной крышей, приняты все меры безопасности.

Завершая этот рассказ, Че сказал: «Многие из сидевших в посольствах вчерашних гватемальских государственных деятелей видели это в окна, но никто не решился выйти и поздравить полковника, назначить его министром обороны и возглавить стихийно осуществившийся контрпереворот. Это плоды деморализации».

Че Гевара в тот вечер обстоятельно изложил свой взгляд на роль политического руководителя. По его мнению, ни один государственный деятель, которому народ доверил судьбу страны в ходе выборов, не имеет ни юридического, ни морального права уходить в отставку по собственной слабости, под давлением обстоятельств. Он просто обязан драться до конца, погибнуть. В противном случае он предаст поверивший ему народ. Это говорилось применительно к Хакобо Арбенсу, тогдашнему президенту Гватемалы, струсившему перед американскими наемниками и кончившему жизнь в позорном изгнании; позже в наркотическом дурмане он утонул в собственной ванне.

Сейчас, глядя на дымящиеся развалины России, часто вспоминаю эти слова Че Гевары. Что сказал бы он о нескончаемой череде наших политических пигмеев?..

В самом конце ноября 1960 года, когда Че Гевара полетел в Северную Корею и Китай, он пригласил меня с собой. Он не был уверен, что там найдется переводчик с корейского на испанский, русский язык мог послужить ретранслятором. Кроме того, через Москву можно было переслать нужную информацию в Гавану, если бы в этом возникла необходимость. Однако корейцы, ориентировавшиеся тогда на Китай, отношения с которым у нас быстро портились, полностью изолировали меня от кубинской делегации. Ким Ир Сен сам говорил по-китайски в беседах с Че. Я мог только поставлять ему информацию, поступавшую для него из Гаваны через Москву. Восток есть Восток – это надо понимать. В разгоравшемся советско-китайском конфликте Че Гевара занимал очень Тактичную позицию. Не поддаваясь попыткам тех и других склонить его на свою сторону, он сохранял свободу суждений и действий. Но в душе, как мне казалось, он был ближе к китайской точке зрения. В разговорах со мной он неизменно хорошо отзывался о Китае, говорил, что, только побывав в Китае, он понял, что для азиатских стран социализм – это единственный путь преодоления социально-экономической отсталости.

Как бы я ни гордился своим участием в укреплении советско-кубинских отношений, я понимал, что как разведчик был бы полезнее на работе в капиталистических странах. События, вскоре развернувшиеся в бухте Кочинос, на Плайя-Хирон, окончательно убедили

меня в том, что мое место «в поле», а не в представительских особняках и не за столом переговоров. Я попросился на работу за кордон, на передний край.

Драматические дни вторжения наемников на Кубу в апреле 1961 года я провел почти безвылазно в кабинете тогдашнего председателя КГБ Семичастного, который поручил мне отслеживать всю информацию, поступающую в КГБ, и докладывать каждые два-три часа обстановку со своей оценкой и прогнозами. Я поступил просто: повесил на стену две крупномасштабные карты, взятые в Генеральном штабе, и стал отмечать ход военных действий на одной из них так, как его подавали американские информационные агентства, а на другой так, как его видели наши представители, находившиеся на Кубе и поддерживавшие контакт с кубинскими руководителями. Через несколько часов стало ясно, что американцы беспардонно врут, что их информация – просто-напросто часть психологического воздействия на население Кубы. Наши специалисты лично докладывали о событиях из тех мест, которые, по уверениям информационных агентств США, были давно захвачены вторгшимися частями или заняты восставшими антикастровскими силами. Вот тогда-то мне стало ясно, что всякая ложь, тем более инициированная государством, является свидетельством слабости и аморальности, независимо от того, какое государство прибегает ко лжи.

В Мексике, на переднем крае

После разгрома бригады вторжения в Хироне я стал готовиться к отъезду в Мексику, куда был назначен третьим секретарем посольства.

Мексика была выбрана для меня по двум причинам. Во-первых, я уже поработал в этой стране в 1953–1956 годах, когда мне даже довелось поучиться в течение почти двух лет на факультете философии и словесности Национального университета. Я вполне прилично владел испанским языком, у меня уже сложился определенный круг знакомых. Мне не надо было терять время на так называемое обживание, знакомство со страной. Я успел полюбить эту чудесную страну, ее народ, самобытную культуру. Знакомство с ее историей потрясло меня. Драматическая судьба Мексики, начиная с завоевательной экспедиции Эрнана Кортеса и кончая революцией 1910–1918 годов, полна нескончаемых попыток иностранцев поработить ее свободолюбивый народ. Землю Мексики топтали полчища испанцев, французов, англичан, но больше всего – американцев. Вечная борьба за свою независимость наложила отпечаток на социальную психологию мексиканцев. У этого мирного, дружелюбного народа, наверное, самый воинственный национальный гимн. В нем что ни строфа, то призыв к бою. Другая главная причина моего направления в Мексику состояла в том, что США были определены для меня как основное направление разведывательной деятельности. В Мехико постоянно проживает большая колония американцев. Проникновение в секреты американцев стало целью моей работы на многие годы. Поставленная руководством разведки задача полностью соответствовала моему настроению. США были для меня не только официальным «главным противником», но и очевидным врагом моего Отечества. Конечно, какую-то роль в формировании отношения к США сыграла и назойливая казенная пропаганда, создававшая образ врага. Но главным учителем все-таки была история. Недавние предки ныне процветающих янки повинны в физическом уничтожении коренного индейского населения Америки. Причем этот геноцид происходил в годы, когда в Европе право повсеместно становилось фундаментом общества и государства.

Перед моими глазами вставала история испанской колонизации Латинской Америки, которая к тому же происходила на пару веков раньше, чем колонизация США. Среди испанцев были защитники прав индейцев, такие, как бессмертный Бартоломе Лас Касас. Колонизаторы легко смешивались с местным населением, сам Эрнан Кортес был женат на дочери индейского касика. Со временем на обширных просторах Латинской Америки доминирующей расой стали метисы – продукт слияния двух основных рас. Совсем иное творилось на севере Американского континента. Там индеец был превращен во врага белых, подлежал уничтожению, а его образ в американской литературе и искусстве стал на долгое время пугающим воплощением зла.

Вообще я замечал, что представители романских народов Европы – испанцы, французы, португальцы, итальянцы – были человечнее, если уместно это слово, по отношению к колонизуемым, чем англосаксы. Последние оказывались оголтелыми расистами, неприязненно относились к местному населению, жили в обособленных кварталах и поселках своей господской жизнью и почти нигде не оставили крупных групп смешанного населения. И сейчас в США завезенные из Африки негры растут численно, но не растворяются в мулатской массе, как это происходит с теми же неграми, завезенными из той же Африки на Кубу или в Бразилию. Чуть-чуть окрепнув, США, отбросив всякие приличия, занялись силовой империалистической агрессией. В войне 1846–1847 годов они захватили у Мексики две пятых ее территории. Через несколько лет американские авантюристы захватили Никарагуа, восстановили там рабство и намерились оккупировать всю Центральную Америку, но потерпели поражение. Список фактов международного разбоя можно продолжать

без конца, последним была интервенция в Панаму в декабре 1989 года. «Большая дубинка» – символ политики США в Западном полушарии – оставалась вечной, хотя этикетки на ней менялись не раз.

По отношению к СССР Соединенные Штаты всегда занимали недружественную позицию.

Сразу же после начала гражданской войны в 1918 году войска Соединенных Штатов высадились на нашей русской территории – в Архангельске и на Дальнем Востоке, стараясь поддержать сепаратистские устремления местных царьков.

Я знаю, насколько чувствительно американцы сами относятся к вопросам появления иностранных военных на своей территории. Однажды во время переговоров по поводу гастролей ансамбля песни и пляски имени Александрова в США американские представители и пресса совершенно серьезно говорили о том, что появление иностранных военнослужащих в мундирах и со знаками отличия на американской территории можно истолковать как высадку вражеского десанта. Под этим предлогом они настаивали на том, чтобы ансамбль выступал в гражданской одежде.

Мне, русскому, и посейчас больно, когда я вижу кадры кинохроники 1918–1919 годов, показывающие американские боевые корабли в наших портах, морскую пехоту США, марширующую по улицам наших оккупированных городов. Насколько помню, мы их не приглашали.

В 1933 году США были последней из западных держав, признавших Советскую Россию.

В годы второй мировой войны мы, мальчишки, ждали, как спасения, открытия второго фронта в Европе. Надеялись, что это поможет нашим отцам и старшим братьям вернуться домой живыми. Но нет! Американцы слали нам оружие по ленд-лизу, кое-какие продукты питания, но кровь проливать в борьбе с фашизмом не торопились.

Я с большим уважением отношусь к американскому народу, к простым гражданам США. Им хватает и чувства справедливости, и сострадания к попавшим в беду. Они умеют на редкость хорошо организовать свой труд, полагаются только на свои силы, уверены в себе. Но так уж устроены государства, что народы оказываются неизмеримо лучше своих правительств. США – не исключение. Разве нормальный средний американец мечтает о том, чтобы разделить на несколько государств Германию, Китай, Россию? А вот правящая верхушка США, ее истеблишмент, никогда не оставляла такой мысли, это была ее голубая геополитическая мечта. Поэтому, говоря «США», я имею в виду те силы, которые лелеяли (или продолжают лелеять) идею мирового господства, ведя дело к ее воплощению в жизнь.

Словом, я работал против США с глубоким убеждением, что делаю доброе, угодное Богу дело, защищая свою страну и помогая десяткам других народов, на себе испытавших когтистую лапу американского орла.

Народы лучше, чем правительства! Поэтому моими помощниками были простые американцы, которые оказались достаточно умными, чтобы судить о политике Вашингтона не по словам, а по делам.

Я приехал в Мексику летом 1961 года, а через год с небольшим разразился злобещий карибский кризис, поставивший весь мир на грань ракетно-ядерной войны. В октябрьские дни, когда истерия взвинчивала нервы до предела, через северную границу Мексики на юг хлынула лавина американских беженцев. Вереницы машин с прицепными домиками нескончаемо вились по горным дорогам. Люди бежали от, казалось, неминуемой ядерной смерти. Создались трудности с расселением, снабжением медикаментами, продовольствием. Многие из невольных беженцев кляли на чем свет стоит как вероломных русских, так и балбесов из Вашингтона, поставивших под угрозу существование США из-за каких-то политических споров вокруг Кубы.

Послы СССР металась по МИД и канцеляриям президентов по всему миру, разясняя, как умели, правоту позиции СССР. Конечно, никто из них не знал истинного положения вещей с размещением советских тактических ракет на Кубе. Я также неоднократно сопровождал нашего посла в Мексике С. Т. Базарова в резиденцию Лопеса Матеоса, тогдашнего президента Мексики. В беседах послы делали упор на оборонительный характер действий СССР и Кубы, приводили данные о концентрации в южных районах США десантных сил, готовых к вторжению. Мексиканцы с пониманием относились к нашей информации.

Лишь потом, годы спустя, мне стала известна вся масштабность нашей военной операции, направленной на защиту кубинской революции и получившей тогда кодовое название «Анадырь». В ответ на угрозу вторжения 150-тысячной группировки, поддержанной сотнями самолетов и военных кораблей США, на остров Свободы (а эти сведения публично признаны тогдашним военным министром США Макнамарой) Советский Союз, говоря словами Никиты Хрущева, решил подкинуть Америке «ежа», то есть разместить на острове ракетно-ядерное оружие, способное сдержать любого агрессора. Напомню, что в эти годы на территории соседней с СССР Турции стояли на боевых позициях американские ракеты «Юпитер», в зоне поражения которых находились важнейшие экономические районы и города нашей страны. Мера Советского Союза по размещению ракет на Кубе была в духе политики конфронтации, но преследовала оборонительные цели – защиту молодой кубинской революции.

Сама операция «Анадырь» была уникальной, подобной ей история Советской армии не знала. На Кубу за короткий срок – за три месяца – была переброшена на морских транспортах и торговых судах Минморфлота большая группировка вооруженных сил общей численностью около 40 тыс. человек. В ее состав входили ракетная дивизия, то есть пять полков, три из которых имели на вооружении ракеты Р-12 с дальностью полета 2,5 тыс. км и два – ракеты Р-14 дальностью 4,5 тыс. км. Правда, не все ракеты успели прибыть к моменту начала кризиса. С воздуха ракетная дивизия прикрывалась двумя дивизиями противовоздушной обороны, вооруженными ракетной системой «земля – воздух» (144 установки), полком истребителей МИГ-21. В состав сил ПВО входил и батальон радиотехнической службы.

С суши ракетное оружие прикрывалось четырьмя полками мотомеханизированных войск. Кстати, одним из этих полков командовал полковник Д. Т. Язов. Эти полки были настолько мощными, что их даже хотели назвать бригадами. В состав каждого из них входило по одному танковому батальону и по одному ракетному дивизиону. Ракетные дивизионы имели на вооружении по две установки тактических ядерных ракет «Луна» с радиусом действия от 45 до 65 км, в зависимости от веса головной части.

Силы ВВС включали два полка ракет, по восемь установок в каждом, с дальностью полета до 150 км, вертолетный полк и отдельную эскадрилью самолетов Ил-26 – носителей ядерного оружия.

В принципе планировалось послать к берегам Кубы две эскадры кораблей – надводную и подводную, но впоследствии от этого отказались.

Решение о готовности начать такую операцию было принято 24 мая 1962 г. на заседании президиума ЦК КПСС и Совета Обороны по докладу министра обороны Родиона Малиновского. Чтобы согласовать операцию и получить «добро» со стороны кубинцев, в Гавану была направлена специальная делегация во главе с Ш. Рашидовым, которая вернулась 10 июня с согласием кубинцев.

До настоящего времени ведутся дискуссии, разумно ли было предпринимать столь масштабную военную операцию, не подкрепив ее международно-правовой базой в виде, скажем, предварительного заключения военного договора между СССР и Кубой. Приходилось слышать впоследствии, что А. И. Микоян и А. А. Громыко робко пытались обратить внимание Хрущева на эту сторону дела, но верх взяло мнение военных о том, что, в слу-

чае предварительного обнародования планов проведения операции «Анадырь», американцы не позволили бы осуществить ее и сорвали бы ее на самом раннем этапе, когда они обладали всеми преимуществами стратегического характера, а у Советского Союза не было адекватных условий для контрходов. В итоге ставка была сделана на проведение операции в условиях секретности, а мир должен был узнать о свершившемся факте 25–27 ноября 1962 г., когда планировалось прибытие на Кубу официальной делегации Советского Союза во главе с Никитой Хрущевым для подписания соответствующего договора с Фиделем Кастро.

Среди военных оказался один смелый генерал, А. А. Дементьев, который в то время работал главным советником у Фиделя Кастро. Он возразил Н. Хрущеву, заметив, что сохранить в секрете всю операцию «Анадырь» до конца не удастся из-за открытости будущих ракетных позиций для разведывательных самолетов США. Сидевший на совещании рядом с ним Родион Малиновский, по свидетельству очевидцев, толкал под столом А. Дементьева, пытаясь «вразумить» его, но тот стоял непреклонно и, как оказалось впоследствии, был прав.

Операция «Анадырь» с точки зрения штабной проработки и организации осуществления, безусловно, была весьма успешной. Были приняты меры по зашифровке и легендированию всех погрузочных работ. Например, на борт судов, капитаны которых не знали портов назначения, грузились лыжи, теплая одежда, которые якобы предназначались для войсковых учений в полярных и приполярных районах. Каждому капитану вручались три пакета. Первый они должны были вскрыть при выходе из территориальных вод СССР. В нем содержалось предписание следовать к Босфору. Затем после выхода из Мраморного моря надо было руководствоваться содержимым второго пакета, а в нем говорилось, что надлежит держать курс на Гибралтар. Только после выхода в Атлантику следовало открыть третий пакет, где лежал приказ брать курс на Кубу.

Наверное, американцы могли почувствовать что-то неладное из-за увеличившегося количества советских судов, направлявшихся из портов Черного и Балтийского морей, а также из Мурманска на Кубу. Несколько раз их военные корабли останавливали наши транспортные суда и пытались учинить досмотр, настойчиво требуя ответить на вопрос, куда шли суда и какой груз в трюмах. Но в те годы моряки позволяли себе довольно решительно отвергать такие требования и продолжали следовать, не сбавляя хода, своим курсом.

В течение всего утомительного пути на Кубу личный состав воинских частей находился в трюмах, чтобы не демаскировать операцию. Жарища в чреве кораблей была нестерпимая, температура воздуха достигала 30 градусов. Хотя команда непрерывно поливала палубу забортной водой, духота была страшная. Выходить на палубу разрешалось на короткое время, группами не более пяти-шести человек.

При подходе к Кубе начинались учащенные облеты кораблей американской авиацией. Самолеты проносились на опасно малой высоте. Тогда выходившие на палубу солдаты даже надевали сарафаны и повязывали головы платками. Вот такой был маскарад!

Разгружали суда только ночью. Когда речь шла об обычном вооружении, его еще можно было выдать за сельскохозяйственную технику, но крупногабаритные ракеты, самолеты пришлось вывозить из портов разгрузки также под легендой, что в данном районе проводились маневры кубинской армии. Советские офицеры и сержанты были переодеты в кубинские мундиры и знали по-испански только две ключевые команды: «Аделанте» («Вперед») и «Паре эль коче» («Стоп»).

В основном переброску войск и их размещение на Кубе удалось провести скрытно. И хваленая американская разведка, несмотря на все усилия, не смогла добыть достоверные данные о численности советской группы войск, ее вооружении, огневой мощи. В докладах ЦРУ правительству фигурировали данные сначала о 12 тыс., а затем о 16 тыс. советских солдат, расположившихся на Кубе. Ракеты были обнаружены американской воздушной разведкой только месяц спустя после того, как они были размещены на острове. О том, что наши

силы береговой обороны вооружены тактическим ядерным оружием, США узнали лишь тридцать лет спустя, когда об этом в январе 1992 года объявили наши военные на трехстороннем семинаре в Гаване, посвященном карибскому кризису.

24 октября 1962 г. с 17.00 американцы начали морскую блокаду Кубы. К этому времени на острове уже находились 42 ракеты Р-12 и одна неполная батарея ракет Р-14, остальные оказались еще в пути и впоследствии были возвращены домой, в СССР. Однако и того ракетного соединения, которое было переброшено на Кубу, оказалось достаточно, чтобы выполнять функцию мощного средства сдерживания.

По сию пору ведутся дискуссии на тему, имел ли право командующий советской группой войск генерал армии Исса Александрович Плиев дать приказ на применение ядерного оружия или такое право Москва оставляла за собой. Свидетельства очевидцев и участников носят противоречивый характер, но можно сказать, что если бы американцы в тех условиях перешли границы разумного и рискнули совершить крупномасштабное нападение на Кубу, то не миновать было большой беды. Вряд ли удалось бы удержаться от защитного контрудара, если бы под огнем противника оказались наши части и соединения. Никто не дал бы убивать себя безнаказанно, как баранов. Американцы понимали это и, когда 27 октября советской ракетой «земля – воздух» был сбит над Кубой американский разведывательный самолет У-2, сами же постарались ослабить впечатление от этого эпизода разговорами, что у кого-то сдали нервы, что произошла ошибка, случайность и т. д. На самом деле приказ о пуске ракеты по самолету был дан заместителем командующего ПВО С. Н. Гречко, а выполнили команду ракетчики первого дивизиона 507-го зенитного полка. Москва и Фидель Кастро были немедленно поставлены в известность о происшедшем. Мотивировка решения была проста: если дать самолету уйти, то он доставит в Вашингтон полные данные о позициях всех развернутых на Кубе ракет. Пуск ракеты был сознательным актом самозащиты. Счастье американцев, что у них не сдали нервы.

Они понимали тогда, что слишком велика ставка, чтобы рисковать жизнью миллионов людей. Моряки вспомнили случай с танкером «Винница», который вез на Кубу 9300 т технического масла и керосина. Он вошел в зону блокады как раз в день введения карантина. Вскоре к нему приблизился авианосец ВМС США, с борта которого поднялся вертолет и завис на высоте 15–20 м над палубой советского судна. В течение нескольких десятков минут он вел киносъемку, затем на смену ему появился самолет, который полчаса летал над судном на бреющем полете, ослепляя команду своими прожекторами. Судно продолжало свой путь, не обращая внимания на опасные провокации. Наконец американцы отстали, и судно благополучно дошло до берегов Кубы, вызвав восторженные комментарии прессы и горячий прием гаванцев.

В советских войсках в самые нервные дни кризиса (24–27 октября) чувствовалась понятная напряженность, но не было никаких признаков деморализации или паники. Солдаты и офицеры готовились вступить в бой рядом с кубинцами и в случае, если придется отступить, были готовы идти в горы и вести партизанскую борьбу. В городке Санта-Крус стояли моряки – ракетный полк береговой обороны во главе с майором В. С. Царевым. Личный состав полка до последнего момента ходил в гражданской одежде, но когда моряки почувствовали, что «последний парад наступает», то вместе с командованием решили принять бой, если таковой грянет, в форме военных моряков, которую каждый бережно хранил в вещевом мешке.

Когда же пришла весть о том, что руководители США и СССР достигли компромисса, то в частях и батареях раздалось громкое «ура!».

Политическое решение карибского кризиса, кроме всего прочего, означало, что Соединенные Штаты впервые в своей практике ведения дел в Западном полушарии были вынуждены под угрозой ответного удара отказаться от применения вооруженной силы.

В последующие годы были открыты многие ранее неизвестные данные о содержании и характере карибского кризиса, и серьезные исследователи и политические деятели однозначно подчеркивали взвешенность и оправданность поведения тогдашних политических руководителей СССР и США. Позднейшие попытки некоторых публицистов представить весь карибский кризис как авантюру Хрущева, к тому же закончившуюся поражением СССР, можно воспринимать только как нехитрый прием во внутривнутриполитической борьбе.

Потом за долгую жизнь в разведке я убедился, что американцы ставят свою безопасность несравненно выше, чем безопасность любого другого государства, собственные интересы для США приоритетнее, чем чьи-либо, жизнь американца не идет в сравнение с жизнью других землян. Эта политика может быть завалена ворохом словесного тряпья вроде общечеловеческих ценностей, права, справедливости, но, едва прикрытые, сквозь него будут явственно проглядывать пучки острых стрел, зажатых в когтях орла на гербе США.

Мои первые контакты с американцами относятся именно к тем тревожным дням. Как правило, это были молодые интеллигентные люди, которые сохраняли иммунитет от наркотического воздействия средств массовой информации. Общаясь с ними, я говорил, что являюсь советским дипломатом, что искренне хочу понять движущие мотивы американской внешней политики, чтобы лучше строить нашу. Мы подолгу обсуждали болезни нашей цивилизации, не рвущуюся, к сожалению, цепь катаклизмов в мире. Размышляли и о смысле жизни человека на Земле. Я не мог, да и не хотел уходить от вопросов о социализме.

Мои новые друзья, в целом все-таки относившиеся с настороженностью ко всему социалистическому, терялись, когда я им говорил, что человеческая мечта о равенстве родилась многие тысячелетия назад. В те годы правые силы пустили в оборот лозунг «Христианству – да, коммунизму – нет». Эти слова можно было увидеть на задних стеклах автомашин, на спинках садовых скамеек, на дверях домов – везде. А я показывал им Новый завет, священную книгу христиан, открывал «Деяния святых апостолов» (гл. 4, 32, 34) и читал про первые христианские общины, созданные Петром и Иоанном: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее... Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного...» Авторитет Библии обезоруживал даже враждебно настроенных оппонентов. Дискуссии длились долго, но чаще всего участники удивлялись, каким же образом социалистическое общество, уходящее корнями в раннее, а следовательно, подлинное христианство, умудрилось заработать себе репутацию безбожного и антихристового, в то время как власть имущие собственники, которым, по Библии, в рай-то попасть труднее, чем верблюду пролезть в игольное ушко, взяли на вооружение христианство и манипулируют им в свое удовольствие.

Одна маленькая победа позволяет разведчику сделать новый шаг, чтобы открыть путь к сердцу будущего помощника. Надо только выбрать такую тему для разговора, которая помогла бы раскрыть взгляды, душевный настрой собеседника. Необходимо, готовясь к разговору, не оказаться менее сведущим в обсуждаемых вопросах, чем собеседник; разведчик всегда должен иметь твердое, взвешенное, хорошо аргументированное мнение. В беседу обязательно должны входить и какие-то сведения, представляющие интерес для собеседника. Совсем хорошо, когда разговор льется легко, бывает пересыпан веселыми шутками. Вот так и начинается длительный период общения с кандидатом в будущие помощники. Он называется на профессиональном языке разведок всех стран «разработка». Нет нигде писанных инструкций, сколько времени должна длиться разработка. Все зависит от искусства разведчика, как скоро он сумеет тщательно изучить своего друга и подготовить его к финальному разговору, когда будет поставлен вопрос о негласном сотрудничестве. Надо помнить, что за разведчиком в чужой стране не стоит никакая сила. Он может опираться лишь на авто-

ритет своего государства, своей идеологии, на свои личные знания, логику, волю и язык. И все это воплощено в самом разведчике.

Часто спрашивают, что движет действиями разведчиков и их помощников – деньги или убеждения. Конечно, главным образом убеждения, а что касается разведчиков, то, безусловно, только убеждения. Нужна обязательно острая патриотическая или идейно-классовая ориентированность, чтобы работа разведчика была одухотворена и возвышенна. То же самое с помощниками. Лучшие люди, с которыми мне посчастливилось многие годы работать за рубежом, секретно сотрудничать в интересах моего Отечества и всех «униженных и оскорбленных», были людьми, сердце которых билось в унисон с моим. Спасибо им за это! Вечное спасибо!

За деньги работали некоторые наши «источники». Даже очень неплохо работали. Но следует помнить: за деньги можно купить шлюху, даже очень красивую шлюху, которая весьма профессионально будет делать свое дело, а любовь за деньги не купишь!

Разведчик – это государственное достояние. Это человек, который в одиночку, без контроля, без понуканий, но и без помощи пославшего его государства решает поставленные задачи. Он должен быть верен, надежен, смел, толков. Ошибаются те, кто думает, будто разведчики за рубежом получают какую-то особую высокую плату. Ничего подобного! Они получают только одну зарплату, которая соответствует их должности по прикрытию. Если я работал третьим секретарем, то ни одного цента сверх оклада, положенного по штату такому секретарю, я не получал. И если так называемый «чистый» коллега, то есть сотрудник МИД, весь день не покидал кабинета и уходил домой по окончании рабочего дня, то для разведчика не существовало временных границ «от» и «до». Чаше всего вечерами проводятся всевозможные приемы, презентации, публичные лекции, собрания землячеств, пресс-конференции и т. д. Именно туда и стремится разведчик, чтобы найти новых интересных знакомых, завязать контакты, собрать информацию у знающих людей. Если день прошел впустую, то не идет сон к активному разведчику. Долго он будет ворочаться с боку на бок, сожалея о потерянном дне – дне, которых вообще не так-то много в быстротекущей командировке.

Американцев в Мексике всегда было много. Посольство США в Мехико – одно из самых крупных по численности персонала, да и по иерархии загранпредставительств оно стоит достаточно высоко. Много американской молодежи учится в Мексике. Это и дешевле, и приятнее, да и уровень преподавания зачастую не ниже, чем у себя дома. Многочислен журналистский корпус американских средств массовой информации. В стране много представительств американских фирм. Даже немало пенсионеров из США стремятся поселиться в Мексике: здесь на свою пенсию им живется намного лучше, чем на родине. Я знал места, где кучно проживали ветераны ФБР, вышедшие в отставку. Так что поле для поисков и дальнейшей работы было немалое. Месяцы летели за месяцами. Одни заботы сменяли другие. Работа разведчика лучше всего выражена в словах поэта: «В грамм добыча – в год труды». Мы даже исходили одно время из простой десятиричной системы: из каждых 100 первичных контактов, может быть, начнется 10 разработок, а из этого десятка может получиться одна хорошая вербовка. Приобретение даже одного стоящего помощника с лихвой окупает все понесенные затраты, иной раз оправдывает всю командировку.

Когда завершается этот цикл работы, душа разведчика поет, он, как персонаж шагаловских картин, парит над обыденностью чиновничьих посольских буден. Жаль только, что поделиться этим состоянием ни с кем нельзя. Узнает об этом только резидент. Ни жена, ни дети никогда не догадаются, почему от их мужа и отца несколько дней исходила необычная аура.

Сейчас можно спокойно говорить о профессиональной работе разведчика. Противник слишком много знает о ней от предателей. Сколько их было всего, мне неизвестно, но за свою жизнь в разведке я смог бы припомнить имена примерно дюжины таких выро-

ков. Часть из них окончила свою жизнь, как сын Тараса Бульбы Андрий, променявший Родину на польскую панночку. Некоторые смогли бежать, вроде Гордиевского, за границу и теперь натушно тщатся изобразить из себя политических противников советского строя, хотя совсем по иным причинам попали в силки иностранных разведок и контрразведок за рубежом. Эти нелюди учились в тех же стенах, что и мы, работали бок о бок с нами, знали примерно столько же о методах и приемах работы разведки – все это они и устно, и письменно сообщили нашим противникам, которые ни на словах, ни тем более на деле не собираются быть друзьями России.

Будни разведчика заполнены работой с действующей агентурой, с теми, кто был привлечен к сотрудничеству с советской разведкой предыдущими сменами наших коллег, с агентами, приехавшими из других стран и т. д.

Проще всего, если обстановка в стране позволяет встречаться лично с агентом где-нибудь в кафе, в ресторане. Там можно не торопясь обсудить все накопившиеся вопросы, принять устную, а иногда и письменную информацию, передать деньги на оперативные расходы, оговорить условия встреч на будущее. Ну а если местная контрразведка активна и хорошо вооружена технически, то надо быть предельно внимательным. При работе с американцами приходилось почти сразу отказываться от таких комфортных условий связи, переходить к использованию тайников или системы моментальных передач.

Только глубоким профанам кажется, что американские спецслужбы не держат под своим контролем собственных граждан. Представители ФБР вербовали агентуру в среде американцев, заставляли всех своих чиновников в обязательном порядке докладывать о каждом контакте с советскими гражданами, проводили регулярные собеседования. Частые и продолжительные встречи с американцами опасны.

Куда надежнее было обучить помощника работать через тайники, исключавшие личные контакты, а следовательно, сводившие риск к минимуму. А еще лучше снабдить помощника специальными листами писчей бумаги, которые пропитаны особым составом и могут использоваться как копирка для нанесения невидимого текста. Эти простейшие формы безличной связи весьма надежны в практической работе, хотя есть и много других, о которых говорить пока рано.

Работа по американской линии в Мексике всегда была активной и живой. К нам нередко заходили по собственной инициативе доброжелатели из граждан США с предложениями о секретном сотрудничестве. За несколько месяцев до моего приезда в страну в наше посольство явились два американца – оба сотрудники сверхсекретной организации, известной как Агентство национальной безопасности. Это агентство занимается разработкой шифров и дешифровальной работой. Десятки тысяч людей с подлинно американским размахом и деловитостью систематически препарируют коды и шифры всех государств мира. Как обычно, приоритетное место в этой работе в то время занимали социалистические страны. Оба визитера выразили решительное желание уехать в СССР по политическим и морально-этическим соображениям. Беседы, проведенные с ними, убедили резидентуру в том, что они действуют искренне и обдуманно. Друзья были скрытно вывезены в Советский Союз, сообщили здесь очень ценную информацию о работе АНБ и долгие годы вместе с советскими специалистами работали по схожей проблематике. Разумеется, такие «пропажи» секретноносителей поднимали на ноги всю систему спецслужб США. Рано или поздно они нащупывали канал, по которому уходили их секреты.

С начала 60-х годов американские спецслужбы стали активно забрасывать в наше посольство лжедоброжелателей – провокаторов. С одной стороны, они хотели загрузить нас ненужной и бесполезной работой, а с другой – рассчитывали скомпрометировать настоящих друзей, посеять недоверие ко всем.

Надо признать, что иногда американцы добивались своего. По сей день остро переживаю трагедию одного из военнослужащих американской ракетной базы на юге США, который пришел с предложением о сотрудничестве. Либо у нашего коллеги не хватило чуткости, либо его собеседник не смог убедить нас в своей честности, но было принято решение отклонить предложение и распрощаться. Каково же было наше сожаление, когда несколько дней спустя этот военнослужащий был арестован американцами в Панаме как дезертир и приговорен к 20 годам тюрьмы.

В подавляющем большинстве случаев нам удавалось если не сразу, то через короткое время отделить зерна от плевел, желающих искренне сотрудничать с советской разведкой от подсадных уток. Мы даже выработали своего рода технологическую памятку-инструкцию для работы с подобного рода людьми. В самых сложных случаях, когда наши человеческие возможности не позволяли вынести окончательное суждение, кто перед нами – союзник или провокатор, мы прибегали к детектору лжи. Вернее, не к самому детектору, а заявляли о возможности его применения. Одного упоминания этого аппарата оказывалось достаточно, чтобы провокаторы немедленно вспыхивали огнем возмущения, гнева и отказывались от всяких дальнейших контактов. Американская пропаганда до такой степени убедила своих граждан во всемогуществе этого технического приспособления, что они не в состоянии противостоять ему. Те, кто не лгал, спокойно соглашались на любую проверку.

Среди многочисленных посетителей посольства из числа американцев были и люди, ставшие потом широко известными. Однажды в воскресный день осенью 1963 года, за несколько недель до покушения на Джона Кеннеди, я с коллегами играл в волейбол на спортплощадке посольства. Вдруг появился несколько возбужденный дежурный комендант и стал просить меня принять посетителя-американца и поговорить с ним. Чертыхнувшись в душе, я побежал, как был в спортивной форме, надеясь, что отделаюсь просьбой прийти в рабочий день. Войдя в комнату для приема иностранцев, я увидел молодого человека с необычайно бледным лицом. На столе перед ним лежал револьвер. Барабан был набит патронами. Я сел рядом и спросил, чем могу быть полезен. Молодой человек сказал, что его зовут Ли Освальд, что он американец, проживший несколько лет в СССР, что сейчас он находится под постоянной слежкой и хотел бы немедленно вернуться в СССР, где раньше жил и работал в Минске, и избавиться от постоянного страха за свою жизнь и судьбу семьи.

Вопрос о возвращении гражданства был крайне сложен. Надо писать мотивированное прошение в Президиум Верховного Совета СССР, долго и без большой надежды ждать, а если и придет положительное решение, то бюрократические хлопоты займут уйму времени. Я каким только мог мягким, успокаивающим тоном сообщил все это необычному визитеру. Он стал было писать прошение, но руки у него сильно дрожали. Вдруг отложил перо и твердо заявил: *«Я их сегодня всех перестреляю. В гостинице за мной следят все: кастелянша, уборщица, привратник...»* Глаза его лихорадочно заблестели, голос стал сбивчивым. На него явно накатили какие-то неведомые мне образы и сцены. Было ясно, что за столом сидел человек с перевозбужденной нервной системой, находившийся на грани срыва. Говорить с человеком в таком состоянии не имело никакого смысла. Пришлось лишь максимально успокоить Ли Освальда, постараться убедить его не делать ничего, что могло бы помешать положительному решению его вопроса о восстановлении в гражданстве СССР и выпроводить из посольства. Обо всем происшедшем я поставил в известность консульский отдел посольства.

Когда некоторое время спустя я узнал о том, что именно Ли Харви Освальд обвиняется в совершении покушения на президента США Джона Кеннеди, увидел на экране телевизора момент его убийства в тюрьме Далласа, закамуфлированного под случайное покушение, мне стало ясно, что он был очевидным козлом отпущения. Никогда человек с такой раздербанной нервной системой, пальцы рук которого не могли твердо держать

перо, не смог бы столь расчетливо, хладнокровно, с большого расстояния точно произвести фатальные выстрелы. Я говорю об этом твердо и убежденно, потому что в молодости, будучи студентом МГИМО, я увлекался стрелковым спортом, устойчиво выполнял нормативы мастера спорта и даже входил в состав сборной команды Москвы. Мне много приходилось стрелять из боевой винтовки на соревнованиях, и я знаю, что залог успеха лежит прежде всего в натренированной, закаленной нервной системе. Да и в беседе со мной Освальд, помнится, ни разу не отозвался плохо о президенте или правительстве США. Все его страхи были связаны с кем-то из ближайшего местного окружения, хотя точно объяснить, кто и за что его преследует, он не мог. Жаль таких людей, затравленных жизнью и ставших жертвами большой политической игры.

Занимаясь изучением американской колонии, находя себе помощников, мы ни на минуту не забывали, что и сами являемся объектом пристального внимания со стороны американских спецслужб. Наверное, так же, как и в подавляющем большинстве других стран, американцы с помощью своей местной агентуры арендовали в ближайшем к входу в советское посольство здании этаж или хотя бы квартиру. Окна этого помещения оставались постоянно задрапированными, независимо от погоды. Занавески скрывали аппаратуру наблюдения и тайного фотографирования. Снимки каждого входящего и выходящего из посольства использовались для установления личности и пополнения оперативных данных. Средств у них на эту кропотливую работу всегда хватало, а в методичности, долготерпении и настойчивости им не откажешь. Американцы изучали наш образ жизни, привычки, черты характера, приобретая для этого своих информаторов среди привратников домов, где мы жили, владельцев лавочек, где мы покупали товары, врачей, к которым приходилось обращаться, и т. д. Очень многие квартиры были снабжены системами подслушивания, а у многих наших сограждан проявляется неудержимый зуд посудачить о сослуживцах, о справедливости начальства, о семейных неурядицах. Таким путем американцы ведут встречную разработку, и когда они полагают, что можно переходить в решительное наступление, то следует очередное ЧП – вербовочное предложение со стороны спецслужб США.

Один из наших товарищей был страстным рыболовом. Когда мог, он проводил свой досуг со спиннингом или удочкой на водохранилище. Больших компаний не любил. И вот в доме, где он снимал квартиру, поселился американец, который сказался заядлым удильщиком. У него, конечно, были хорошая лодка, отменные снасти. Несколько месяцев соседи обменивались вестями о своих рыбацких успехах, обстановке на окрестных озерах, информацией о новых снастях, появившихся в продаже. Но однажды американец предложил собраться на совместную рыбалку на пару дней за несколько сотен километров от столицы. Это вызвало подозрения. Приглашение было обсуждено на совещании в резидентуре. Остановились на том, чтобы дать согласие на совместную рыбалку, подготовиться к тому, что американцы могут создать вербовочную ситуацию, и изучить их методику действий.

Так и получилось. На месте рыбалки компания собралась большая, приехали еще три-четыре каких-то незнакомых американца. После вечерней зорьки за ужином пошел прямой лобовой разговор. Начал его один из этих незнакомцев. Он сказал, что американцам хорошо известна подлинная принадлежность нашего товарища к разведке, привел некоторые факты в подкрепление своих слов, изрядно польстил, похвалив способности и опыт коллег. А потом без обиняков спросил, во сколько тот оценивает свои услуги. При этом он протянул чистый чек, предложив нашему товарищу самому заполнить его, указав необходимую сумму. По предварительно согласованному плану, на рожон лезть не следовало. Цену за «свою душу» наш товарищ поставил весьма высокую, но всем своим поведением давал понять, что дело это весьма серьезное и надо тщательно взвесить все обстоятельства.

Полагая, что им удалось добиться главного, американцы стали в более мягкой, спокойной форме рассуждать о перспективах сотрудничества, намечать задачи, расписывать выгоды сотрудничества с ними. Наутро, хотя и клев выдался отменный, рыбалка никого не занимала. Вернувшись в посольство, наш товарищ представил полный обстоятельный доклад о происшедшем. Естественно, был извещен и центр. С общего согласия было решено дать понять офицеру безопасности посольства США, что наш товарищ обо всем рассказал послу и американцам не стоит рассчитывать на успех. После такого охлаждающего душа американцы надолго оставили коллегу в покое, а его незадачливый сосед-рыболов быстренько сменил квартиру.

Бывали ситуации и более грозные. Наш разведчик изучал группу американских студентов, среди которых, по-видимому, оказался агент спецслужб. Пользуясь тем, что наш сотрудник был молод, находился в первой командировке, американцы решили сломить его мощным психологическим давлением. Обманным путем они заманили его в одиноко стоявший домик, расположенный в лесном массиве в пригороде столицы. Там его опять-таки встретила группа американцев – уж очень они любят выступать в численном большинстве. Двое загородили входную дверь, а один предложил «серьезно поговорить». Наш парень был неопытен, но здоров физически. Он оттолкнул от двери караульчиков и выскочил к своей машине, стоявшей во дворе. Но капот машины был задран, над мотором притворно наклонился еще один дюжий детина, вертевший к тому же в руках финский нож. Он только что перерезал провода электропитания.

Наш работник, помня, что до магистрального шоссе было не более полутора километров, бросился туда. Тем временем в домике царило явное замешательство. Сильное нервное возбуждение – отличный стимул для скорости бега. Наш парень успел выскочить на шоссе, добраться до ближайшего поста дорожной полиции и предупредить о возможной погоне за ним. И в самом деле вскоре появился знакомый «ягуар» красного цвета, которым пользовались организаторы провалившейся засады. Последовали крики полицейских «Стой! Стой!», даже кинематографическая стрельба, но «ягуар» на скорости затерялся в городском потоке машин. Обе стороны отделались изрядным испугом.

Вот так и текли наши рабочие будни, но один раз в месяц, когда приходила дипломатическая почта, мы с удовлетворением упаковывали полученную информацию документального характера в дополнение к той, которая уже ушла в центр по шифрканалу. Нет, не даром ели хлеб разведчики нашего поколения!

Весной 1963 года Москва еще раз отвлекла меня на переводческую работу. Я несколько мистически был вызван из командировки. Резидент получил телеграмму, предписывавшую Леонову быть в Москве на следующий день. Недоумение было всеобщим, за мной не числилось ничего, что каралось бы внезапным откомандированием. На запрос, нельзя ли дать денек на сборы, последовал окрик: «Прибыть с первым самолетом!» Так и летел, не зная, что меня ждет дома. Только в аэропорту узнал от товарищей, что на днях в СССР прибывает с первым визитом Фидель Кастро и решено использовать меня в качестве переводчика.

Сам визит был непривычно протяженным во времени – с 23 апреля по 6 июня. За это время Фидель посетил Мурманск, Волгоград, Ташкент, Самарканд, Иркутск, Братск, Свердловск, Ленинград, Киев, Тбилиси, побывал на ряде военных баз флота, ракетных войск и т. д. Ни до, ни после никому в СССР не устраивали таких приемов. Прямых деловых разговоров велось немного, главное место занимали осмотры промышленных и сельскохозяйственных предприятий, митинги, встречи, беседы, банкеты. Пожалуй, Фидель Кастро хотел познакомиться поближе со страной и ее народом, а Никита Хрущев очень хотел стереть те неприятные воспоминания, которые оставались в душе у кубинцев после карибского кризиса. От этого визита, протекавшего в очень эмоциональной, праздничной

обстановке, осталось в памяти несколько эпизодов. Известно, что эпидемия секретности была постоянным фоном нашей жизни. Для встречи Фиделя, прилетавшего на военный аэродром в Оленегорске на Кольском полуострове, в полной тайне вылетела группа во главе с А. И. Микояном. Но в Мурманске уже все шушукались «по секрету» о прилете Фиделя. В городе никогда в эту пору не красили заборы, а тут десятки маляров без устали наводили марафет. Снег еще лежал сугробами, и красили до кромки снега. Работа уже велась несколько дней, и в ряде мест снег успел подтаять, обнажив незакрашенные полосы, что придавало всей «живописи» загадочный сюрреалистический оттенок. Повсюду развешивали флаги, хотя до майских праздников оставалось много времени. К тому же флаги были не официально государственные, а просто красные и синие полотнища. Оркестр пожарников Мурманска в «секретном» порядке разучивал гимн Кубы. Все знали, что в те годы через Мурманск проходила одна-единственная международная авиалиния Гавана – Москва, по которой без необходимости промежуточной дозаправки и остановки летали ТУ-114. Да и сам неожиданный приезд А. И. Микояна, о котором уже сложилось мнение как об «уполномоченном политбюро по кубинским делам», был достаточно красноречив. Появление на вокзале специального правительственного поезда довершило картину. Всем было все ясно, но каждый старался ревностно изображать хранителя секрета. Такие игры в секретность в те годы были распространены очень широко. Власть была довольна тем, что «приняла все меры», но эти «меры» претворялись в жизнь столь нелепо, что все выходило с точностью до наоборот.

Фидель Кастро задержался на несколько дней на Севере. Его главной задачей, как мне кажется, было воочию убедиться в наличии у Советского Союза адекватных средств ответа на ядерную угрозу со стороны США. Этим и диктовалась поездка в Североморск – главную военно-морскую базу Северного флота. К тому времени у Советского Союза не было никаких договорных обязательств союзнического характера в отношении Кубы, но Никита Хрущев в ряде своих публичных выступлений твердо заявил о том, что СССР в состоянии защитить кубинскую революцию. Общее настроение самых широких слоев народа было безусловно в пользу революционной Кубы. Складывалось впечатление, что СССР де-факто обеспечивал «ядерный зонтик» над Кубой. Не удивительно, что Фидель хотел посмотреть на этот «зонтик».

Был организован осмотр ракетного крейсера, стоявшего у причальной стенки, затем все спустились в подводную лодку «Ленинский комсомол». По просьбе Фиделя командир лодки даже приказал раскрыть люки и поднять в стартовое положение одну из ракет. Зрелище было впечатляющим, если к тому же добавить, что несколько других подводных лодок выстроились на рейде в парадном порядке.

Потом, в ходе визита, Фидель посетит также базу наземных ракет стратегического назначения и окончательно убедится: слова Хрущева о том, что «у нас есть чем защитить себя и своих союзников», не являются блефом.

Первомайскую демонстрацию на Красной площади мне в первый и последний раз в жизни удалось посмотреть с трибуны Мавзолея, где я устроился, как положено переводчикам, за спинами главных руководителей и, поскольку разговоров было мало, имел возможность спокойно оглядеться и послушать. Меня всегда удивляло, почему наши военные – маршалы и генералы – по-хозяйски обжили половину трибуны. По занимаемому месту и по численности они не уступали партийной верхушке, которая теснилась по другую сторону от центральных микрофонов. Кто и когда установил такой порядок?

Даже в царской России военные не составляли такой весомой доли в свите императора. Добро бы шла речь о нескольких заслуженных военачальниках Великой Отечественной войны, а то ведь на трибуну поднимались никому не известные своими военными подвигами люди в мундирах только потому, что они занимали определенное положение в военной

иерархии. Очевидно, политическое руководство чувствовало свою зависимость от армии, тяготилось этой зависимостью, но поделаться ничего не могло. Для обеспечения преданности армии кнут и пряник по отношению к ней применялись в крайне экстремальном выражении. Репрессии предвоенных лет губительнее всего прошли по командным кадрам армии, но зато и оказанные милости превосходили разумные нормы. СССР за годы своего существования наплодил больше маршалов, чем все страны мира за всю свою историю. Появились нелепые воинские звания вроде «главный маршал»; маршалы родов войск, генералы армии потребовали приравнения к маршалам и добились своего, стали носить соответствующие знаки отличия. Высшее военное руководство активно участвовало в политических интригах. Да и сами генеральные секретари партии часто присваивали себе высшие воинские звания, чтобы скрепить пакт военно-бюрократических сил.

С Мавзолея Красная площадь видится несколько иначе, чем снизу. Очень четко просматриваются, например, сплошные шеренги сотрудников государственной безопасности, разделяющие площадь на коридоры. Демонстрация уже не представляется сплошной ликующей массой народа, она разрезана на аккуратные ленты, движущиеся по своим каналам. Кстати, эти шпалеры чекистов стоят спинами к Мавзолею, что и неприлично, и неприятно для глаза. Охрана должна быть эффективной, но незаметной.

В какой-то момент я заметил, как к Хрущеву подошел уже впадавший в старческий маразм К. Ворошилов и громко зашептал: «Никита Сергеевич! Дай команду чекистам, чтобы они побыстрее проталкивали колонны, а то они тянутся еле-еле. Так мы отсюда до обеда не выберемся!» Хрущева прямо взорвало. «Иди, Клим, – зло зашипел он, – знаешь куда... Ты ведь с тех пор, как стали парады да демонстрации проводиться, все время глядишь на них с трибуны. А мне в старое время приходилось вставать часов в шесть утра, идти куда-нибудь к Марьиной роще на сборный пункт, а потом часами двигаться к Красной площади. Бывало, дойдешь до цели и сердце замрет – до того хотелось постоять подольше и поглядеть на Сталина. А чекисты уже тогда нас “подбадривали”: “Давай, мол, проходи поживее”. Возьми вон стул, сядь и помалкивай!» – резко закончил Хрущев.

Я обратил внимание: действительно, вдоль всей трибуны стояли специальные стулья на высоких ножках. На них можно было сидеть, но это оставалось бы полностью незаметным для демонстрантов на площади.

Пришел конец праздничному шествию, и все руководство внешне нестройной стойкой, в которой на самом деле каждое место было строго определено, двинулось в Кремль во внутренние покои. Хрущев, Брежнев, Суслов, Громыко, Фидель сели вокруг столика и стали обмениваться впечатлениями. Все были довольны, празднично возбуждены. И вдруг – слово за слово – в разговор вползла тема злополучного карибского кризиса. Забывший осторожность Никита Хрущев неуклюже зацепил ее, как баржа минреп. Фидель помрачнел и категорически сказал, что советское правительство не все сделало в дни кризиса так, как надо, и стал вновь говорить о недопустимости действий в таких вопросах без консультаций с Кубой. Все кругом напряглось, разговор по сторонам смолк.

Хрущев, ударив себя по коленке, стал оправдываться. Фидель не оставлял ни одного слова без ответа. Оба были удовлетворены, что кризис уже прошел, но каждая сторона оставалась при своем мнении относительно поведения другой. Никита Сергеевич вспомнил некоторые острые высказывания в адрес СССР, которые в дни кризиса вырвались у Фиделя, а тот, в свою очередь, сказал, что этого требовали честь и достоинство государства. Я с трудом поспевал за бешеным темпом разговора, который к тому же становился все более резким. У меня в горле пересохло. Я почти инстинктивно потянулся к бокалу то ли вина, то ли воды, стоявшему на столе, но сделал это неуклюже, свалив бокал, затем упала бутылка, из горлышка которой захлестала струя коньяка на брюки сидевшего рядом Суслова. Подскочил официант, звякнуло разбитое стекло. «Ну, все, – подумал я, – кончилась

моя импровизированная карьера переводчика, а может, и не только переводчика». На какой-то момент возник легкий переполох. И вдруг я услышал веселый смех Никиты Хрущева: «У нас, Фидель, посуда бьется только к счастью!» У всех отлегло от сердца. Посыпались шутки, остроты, как лучшие смыть коньячное пятно на самом видном месте праздничных брюк Суслова. Мне было совестно за свою неловкость, я не знал, куда деваться от смущения, но радовался, что грозивший разгореться пожар оказался залитым фужером фруктовой воды. Я был немало удивлен, когда через несколько дней Хрущев шепнул мне: «А ты молодец, тогда догадался разбить бокал!»

К концу визита Хрущев пригласил Фиделя на несколько дней в свою любимую Пицунду. Здесь шли переговоры о поставках оружия на Кубу. Никита Сергеевич был в очень хорошем настроении. Каждый раз, когда военные согласовывали очередную переговорную позицию, он говорил: «Добавьте от меня лично еще один танк», если речь шла о поставках танков, или «Прибавьте еще одно орудие в знак личного уважения к Фиделю». Когда в Москве в Министерстве обороны получали окончательно согласованные цифры, специалисты долго ломали голову, какая же организация войск предусматривается при таких странных количествах выделяемой техники.

Когда кончались переговорные вопросы, Хрущев начинал рассказывать о наших внутренних делах. Однажды он начал вспоминать свою инициативу о делении обкомов партии на городские и сельские. Вот что сохранилось у меня на этот счет в записных книжках. «Сидя на краю бассейна с морской водой, Никита заговорил: «Не знаю, чем объяснить, но мне часто, когда я плаваю здесь, в голову приходят новые мысли. Не так давно пришла идея поделить обкомы, потому что никто не желает в этой стране заниматься сельским хозяйством. Оформил я эти мысли на бумаге и, чтобы дать возможность товарищам по политбюро спокойно взвесить разумность предложения, разослал им записку «вкруговую». Пусть подумают! Через неделю все экземпляры вернулись без единого изменения, даже редакционного. Все одобрили. А теперь вот вижу, что мы поторопились.

Вообще в России настолько велика инерция, что побороть ее почти невозможно. Вот ты думаешь небось, что я, первый секретарь, могу что-нибудь изменить в этом государстве. Черта с два! Какие бы я реформы ни предлагал и ни проводил, в основе своей все остается по-прежнему. Россия – как кадушка с квашней: сунешь в нее руку до самого дна – и вроде ты хозяин положения, а вынешь – и останется едва заметная ямка, да и та на глазах затянется и останется ноздреватая пыхтящая масса!»

Однажды Хрущев вспомнил почему-то Лаврентия Берия. Он тут же спросил Фиделя, доверяет ли он своим политическим соратникам. Получив утвердительный ответ, назидательно протянул: «Ну и напрасно...» И стал рассказывать, что вот, мол, у нас столько лет спустя после революции нет-нет да и появляются политические предатели. По его словам выходило, что таким предателем был, в частности, Л. Берия, который, дескать, задумал ликвидировать сразу все политбюро. Для этого Берия распорядился по своей личной инициативе построить несколько государственных дач в районе Сухуми для отдыха членов политбюро. Пришлось выселить из отведенного района местное население, занять его сады, огороды. Ясно, что такие действия не могут вызвать симпатий по отношению к Москве. В Абхазии ширилось недовольство «русскими оккупантами». Берия, по словам Хрущева, предполагал пригласить всю верхушку на открытие этого дачного городка и там арестовать их, обвинить в отходе от сталинских идей и т. д.

И Хрущев решил действовать. Первый, кому он сказал о своем плане устранения Берии, был Г. М. Маленков. Тот, выслушав предложение, со слезами на глазах обнял Хрущева: «Спасибо тебе, Никита Сергеевич, за твою инициативу, за смелость. Иначе Берия всех нас перестреляет!» Затем Маленков начал обрабатывать В. М. Молотова, а Хрущев взял на себя К. Е. Ворошилова. И так далее. Когда все было подготовлено, всем

членам политбюро было выдано личное оружие на случай вооруженного сопротивления Берии, в соседней комнате ждали условного сигнала маршал Конев и генералы Москаленко и Гречко. Началось, казалось бы, рутинное заседание президиума Совета Министров. Сразу же по предложению Маленкова оно было превращено в чрезвычайное заседание политбюро с обсуждением вопроса о поступивших данных о предательской роли Берии в годы гражданской войны на Кавказе. В этот момент побледневший Берия рванулся было к своему портфелю, лежавшему за спиной на подоконнике, но Хрущев сильно схватил его за руку и прошептал: «Сиди, Лаврентий, сиди спокойно». Тот обмяк и затих. Вызванные звонком генералы без труда арестовали его, отвезли в бронетранспортере в штаб Московского военного округа на улице Осипенко и разместили его в бункере, служившем в годы войны бомбоубежищем. Охрану несли офицеры в звании не ниже полковника. Потом он был перевезен во Владимирскую тюрьму, там его судили и расстреляли. По словам Хрущева, когда Берия увидел команду, готовую к исполнению приговора, он полностью потерял присутствие духа и умер, обвалившись в собственном дерьме.

Переводя такие откровения Хрущева, я невольно думал: «Какой же поганой жизнью вы живете, господа руководители!» Смотреть на них вблизи было и горько, и смешно, настолько не вязался их реальный облик с внешним парадно-выходным образом, создаваемым на потребу публике. Я был свидетелем маленького трагикомического происшествия, случившегося там же, в Пицунде. На даче почти постоянно находился тогдашний первый секретарь ЦК компартии Грузии Мжаванадзе. К столу переговоров, стоявшему на веранде, его никто не звал, а сам он из деликатности сидел обычно в смежной комнате, отделенной от веранды стенами с широкой дверью, выполненной из толстого литого стекла хорошего качества. Там он читал газеты, журналы, просматривал какие-то свои бумаги, но всегда был готов прийти по первому зову шефа.

Шли дни, а его все не звали, и он присутствовал только на обедах, на которых произносил остроумные витиеватые тосты и рассказывал о грузинских блюдах. Но однажды Хрущев громко позвал его с веранды: «Мжаванадзе, иди-ка сюда!» Тот вскочил с кресла и, повинаясь инстинкту, рванулся на зов хозяина. И вдруг с ходу треснулся лбом о массивное стекло двери, ведущей на веранду. Удар был настолько сильным, что Мжаванадзе рухнул, будто сраженный автоматной очередью, и вытянулся на полу, уставившись пухлым животом в голубое небо родной Грузии. Каждый реагировал по-своему: Фидель бросился на помощь, Никита послал своего охранника наверх за медсестрой. А я... не мог удержаться от смеха. Столь беспощадное наказание лакейской проворности, мгновенный переход от шустрости к величественному покою напомнили сцены из немых фильмов начала века. Заметив неодобрительный взгляд Хрущева, я быстренько ретировался в привычную компанию обслуживающего персонала и охранников, которые всегда приглашали меня обедать в свою столовую. С ними можно было смеяться вволю, а еда и питье были не хуже, чем на господском столе.

Я уже привык к тому, что ложь и неправда всегда в большом ходу в правительственных эмпиреях. Это только нас бабушки пугали тем, что за каждое лживое слово черти на том свете будут заставлять лизать языком раскаленную сковороду. Здесь кривда была обычным делом. Поэтому, когда всем было сказано, что делегация поедет в Ереван, а на самом деле мы в самолете направились в Мурманск, где уже ждал запрошенный ТУ-114, готовый стартовать в Гавану, я ничему не удивился.

Вскоре я вновь вернулся в Мексику к своим обычным делам разведчика, откуда меня выхватили описанные события. Но мыслью я часто возвращался к Никите Хрущеву, которого мне почти полтора месяца пришлось видеть и слышать вблизи, наблюдать в семье, на даче, в кругу своих коллег. Я и тогда чувствовал большую симпатию к этому человеку, а сейчас уверен, что в его лице Россия, тогда СССР, потеряла последнего сколько-нибудь самобытного политического руководителя. (Андропов не в счет: слишком короток оказался

его срок, да и он был съеден болезнью.) Когда осенью 1964 года пришли известия о том, что Никита Хрущев ушел в отставку по собственной просьбе, я не сомневался, что это очередная ложь: не таков был характер и тип этого неугомонного человека. Пользуясь нашей наивностью и невежеством, нас убеждали в том, что он велел повсюду сеять кукурузу, даже на Новой Земле, что он стучал ботинком по кафедре в ООН, глуше говорилось о том, что он по-волюнтаристски относится к кадрам, и все. Напрочь забыли и старались не вспоминать, что он пытался демократизировать партию, ограничив срок пребывания в выборной должности тремя выборными периодами, то есть 12–15 годами. Такой срок пребывания у власти приемлем даже для цивилизованного мира, а для России это была подлинная революция.

Мне как-то пришлось сопровождать за границей зятя Хрущева А. Аджубея, и он стал мне жаловаться за кружкой пива: «Ведь это несправедливо – обрезать политическим деятелям крылья. Мне сейчас 42 года, значит, в 54 я должен оставить большую арену (а он в то время уже был членом ЦК КПСС. – Н. Л.)». Первое, что поспешили убрать люди, свергнувшие Хрущева, были не посева кукурузы, а именно это положение об ограничении времени пребывания у власти. Разве не Хрущев ликвидировал пресловутые «пакеты», то есть неофициальные параллельные зарплаты из кассы партии? Никто, кроме Хрущева не посмел замахнуться на персональные машины, на государственные дачи, где он предполагал разместить детские сады и ясли. Я уж не говорю о XX съезде партии – отправной точке поворота в умах.

При нем (а он был Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами и председателем Совета Обороны СССР) свершился переворот в армии, начавшей переходить на ракетное вооружение. Мы тогда вышли в космос, и было время, когда США оказались позади со своими программами.

Позоря его память, первые дома массовой застройки стали называть «хрущобами». Но по тому времени эти дома казались дворцами тем, кто вселялся в них после мытарств в коммунальных «вороньих слободах». Пошла вверх кривая рождаемости: людям хотелось жить.

Конечно, безмерная власть первого секретаря ЦК КПСС, намного превышавшая prerogативы российских императоров, развращала любого политика, а тем более такого, как Н. Хрущев, не защищенного и не отягощенного воспитанием и культурой. Он наделал немало грубых ошибок. К ним я отношу отказ от серьезных планов по восстановлению традиционных сельскохозяйственных районов страны и организацию «целинной эпопеи». Целина съела громадное количество наших ресурсов, но так и не решила зерновой проблемы, а сейчас к тому же и оказалась почти целиком за границей.

Со всех точек зрения не иначе как самодурством можно считать волюнтаристское решение о передаче под юрисдикцию Украины Крыма, чисто русской территории. Конечно, в те годы никто не мог предполагать, что пройдет время, и другие самодуры начнут делить историческое наследство народов и земли, приобретенные в результате десятилетий войн с Османской империей, окажутся потерянными. Политики обязаны быть прозорливыми, должны видеть последствия своих шагов, их воздействие на будущее развитие.

Н. Хрущев из-за особенностей своего характера нанес серьезный удар по единству социалистических стран. При всех неизбежностях неровного развития советско-китайских отношений не было никакой исторической предопределенности разрыва наших связей. Резкие внешнеполитические повороты привели к утрате союзнических отношений с Албанией, значительному охлаждению советско-румынских отношений. По существу, весь тогдашний социалистический лагерь разбился на два – просоветский и прокитайский, что серьезно ослабило и скомпрометировало в мире саму социалистическую идею, надломало международное коммунистическое движение, раскололо «третий мир». Никита Хру-

щев был последним, кто сформулировал нашу национальную цель. Пусть она звучала наивно: «Догоним Америку по производству молока и мяса!», но все последующие администрации были просто незрячими. Ослепшая партия вела, не зная куда, слепой народ. Так вместе они и дошли до гибели государства и распада общества.

Мне искренне было жаль Никиту Сергеевича – самодуристого, своевольного, любившего принять лишнюю рюмку (это почти генетические недостатки российских руководителей), которому не хватало нормальных демократических тормозов. А тогдашнему сверхсерому политбюровскому окружению оказалось проще организовать свержение Хрущева, чем поддержать и развить им же начатые демократические процессы. И они обвинили его в том, в чем поддакивали ему в течение многих лет. А публике «повесили на уши лапшу» о кукурузе.

Кеннеди убили в 1963 году, на следующий год из Кремля убрали Хрущева. В какой-то степени они оба заплатили за карибский кризис: первый – за то, что не довел борьбу против строптивого Кастро до полной победы, а второй – за то, что подверг смертельной опасности благополучное существование кремлевской олигархии своими «новациями» во внутренней и внешней политике.

Начало 1965 года выдалось бурным из-за событий в Доминиканской республике. Весной там произошло выступление патриотических сил под руководством полковника Франсиско Кааманьо, который не скрывал своих антиимпериалистических убеждений. Вооруженные отряды повстанцев взяли под свой контроль большую часть столицы страны, и можно было ожидать их победы со дня на день. Соединенные Штаты, напуганные возможностью появления в Карибском море «второй Кубы», решили идти напролом. Заполучив без особых хлопот санкцию Организации американских государств на проведение вооруженной акции, США высадили в Доминиканской республике 30-тысячный корпус. В качестве фигового листка, прикрывавшего интервенционистский срам, в Санто-Доминго было привезено несколько рот солдат мелких центральноамериканских государств. Получилась «коллективная акция» ОАГ. Центр проявлял заинтересованность в информации о том, что в действительности происходило на острове Санто-Доминго, каковы были прогнозы развития событий. Никогда раньше разведка не обращала внимания на эти страны из-за отсутствия там прямых интересов СССР. Ни в Доминиканской республике, ни в соседней Гаити испокон века не было ни русских, ни советских посольств. В разведке такие районы назывались «белыми пятнами». Теперь надо было срочно искать источники информации. На такой мощной идейной основе, как совместная борьба против иностранной интервенции и восстановление независимости страны, оказалось возможным найти хороших помощников. Больше хлопот возникло с организацией надежной бесперебойной связи с Доминиканской республикой, потому что там не было ни одного представителя или представительства СССР. Но удалось решить и эту задачу через одну из малых Антильских республик, лежащих к югу от Санто-Доминго.

Эта работа никогда не была обращена против тех стран, на территории которых она проводилась. Все наши шаги были запрограммированы на проникновение в секреты США или, как в данном случае, на противодействие их прямым или косвенным интервенционистским акциям.

Особняком стояла работа с представителями коммунистических и рабочих партий. Никому из разведчиков она не нравилась. В наши времена уже действовал запрет на использование коммунистов в разведывательной работе. Но в соответствии с решением ЦК КПСС разведка была обязана обеспечивать за границей конспиративный контакт с представителями компартий для выполнения поручений ЦК. Эти поручения сводились главным образом к передаче ежегодных денежных субсидий, приглашений на отдых и лечение определенного числа представителей партии, приглашений на различного рода меро-

приятия (съезды, конгрессы, крупные симпозиумы) с передачей средств на транспортные расходы и т. д. Иногда в ходе встреч представители компартий передавали нам открытые или запечатанные конверты с письмами, адресованными на Старую площадь. В них излагались просьбы, информация о внутреннем положении в партии, но к разведке все это не имело отношения. Сама по себе эта работа была очень опасна, потому что многие коммунисты находились под постоянным надзором своих правительств, за ними часто надолго устанавливалось негласное наблюдение даже при передвижении в городе. Конечно, люди, выделенные руководством компартий для поддержания с нами негласного контакта, не обладали никакой специальной подготовкой, которая позволяла бы им выявлять за собой слежку. Они могли, ничего не подозревая, привести за собой «хвост» к месту встречи.

Если в своей обычной работе разведчик старается придать каждой своей встрече характер естественного, законного, вполне разрешенного действия, то встреча с представителем компартии почти не поддается легендированию. С какой стати, скажем, мне, третьему секретарю посольства, понадобилось вдруг встретиться с совершенно мне неизвестным человеком, прибывшим в Мексику из какой-нибудь латиноамериканской страны, с которой у нас нет дипломатических отношений? Да, но в этой стране есть компартия, и в Москве определили, что контакт с ней должен осуществляться именно так, по условиям явки.

Вот и приходилось под покровом темноты встречаться с абсолютно незнакомыми людьми, передавать им закамouflированные под бытовой груз пакеты с деньгами, принимать конверты. Сам характер операций носил абсолютно уликовый характер, и мы всегда облегченно вздыхали, когда они оставались позади.

Контакты с коммунистами для меня означали не только опасную и неприятную оперативную работу. Мне посчастливилось встретить среди них людей исключительно высокой культуры, выдающихся нравственных качеств. В Латинской Америке вообще нередко наиболее крупные представители культуры, искусства стояли на позициях социализма, например Диего Ривера, Альфаро Сикейрос, Пабло Неруда, Николас Гильен и многие другие. Вообще в Латинской Америке принадлежать к левому крылу общественных сил означало быть частью мыслящих, патриотических слоев населения.

В Мексике я встретился в те годы с одним из руководителей Гватемальской партии труда (коммунисты) – Виктором Мануэлем Гутьерресом. Во времена правительства полковника Х. Арбенса Виктор Мануэль был председателем гватемальского парламента, а после свержения демократического правительства вынужден был долгие годы скитаться в эмиграции, не оставляя партийной работы. Средства для жизни он зарабатывал преподавательской деятельностью: мало было таких глубоких знатоков истории Латинской Америки, тонких политологов и аналитиков, как Виктор Мануэль.

Он иногда заходил со своей дочкой ко мне домой на улицу Масатлан, 206, мы пили крепкий русский чай и говорили о тяжелой доле, выпавшей центральноамериканским народам. Он заронил мне в душу глубокую любовь к этому региону. Помню его слова: «Вам хорошо жить на свете. За вами огромная страна, мировая слава культурного наследия, славная, известная история. А каково народам, о которых люди не знают почти ничего? Гватемалец, гондурасец – это для многих просто указание на принадлежность к аборигенному племени, за которым не стоит ничего, кроме этнографической привлекательности. Наши государства – парии в международном сообществе. Наши народы заражены комплексом неполноценности. Почитайте “Королей и капусту” О’Генри, и вы увидите, как нас воспринимают со стороны».

Мне захотелось побольше узнать об этом большом, мало известном моим соотечественникам районе мира, где разыгрывались невероятные исторические драмы, действовали политические фигуры, перед которыми хотелось преклонить колени, где люди

страдали столько же, а может быть, и больше, чем на моей далекой Родине. Я узнал, что менявшие друг друга диктаторы центральноамериканских стран, придя к власти, первым делом начинали калечить национальные архивы, изымая все компрометирующие их материалы. По просьбе честных работников архивов ЮНЕСКО взяла на себя труд послать в ряд центральноамериканских стран подвижные фотолаборатории, которые микрофильмовали сохранившиеся фонды. Одна копия этих микрофильмов была передана на хранение в Панамериканский институт географии и истории, находившийся в Мексике. Все мои личные сбережения были использованы для покупки копии с этих копий.

В один из дней уходящего 1967 года Виктор Мануэль зашел ко мне проститься. Он нелегально уезжал в Гватемалу на собиравшееся там совещание руководства партии. Мрачные предчувствия наполняли его. Оснований для них было предостаточно. В стране бушевали правый террор в городах и партизанская война в сельской местности. Левые силы, сильно раздробленные, тратили энергию на борьбу друг с другом. Идейная непримиримость часто прикрывала обычные честлюбивые личные столкновения или, еще хуже, проделки провокаторов. Виктор Мануэль не захотел уклониться от смертельной опасности. Добрый, профессорского склада человек, невысокий рост и мягкий голос которого лишь подчеркивали его незащищенность, решил поехать, чтобы примирить несогласных, помочь им понять друг друга, вместе поискать разумный путь выхода из кровавой трясины.

Попытки отговорить его от этого решения оказались напрасными. Он передал связку книг по истории Гватемалы и сказал, прощаясь: «Послушай, если я вдруг не вернусь, обещаю тебе написать историю стран Центральной Америки. Мне на это так и не хватило времени!» Мы обнялись, в носу противно защемило – признак оживившихся слезных желез? Я твердо мотнул головой: дескать, обещаю. А он и впрямь больше не вернулся.

В начале следующего, 1968 года я узнал, что, выданные предателями, все участники совещания были схвачены. Никакого следствия и суда, разумеется, не было. Все они были зверски замучены в застенках. По свидетельству одного из охранников, Виктор Мануэль Гутьеррес погиб от удушья в надетой на голову резиновой маске. Тело его было сброшено с вертолета в кипящее акулами Карибское море.

Я сдержал, как мог, слово, данное этому замечательному человеку. В 1975 году в Москве вышла моя работа «Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки». Я посвятил ее тем людям, которые погибли, не изменив своим убеждениям, а их убеждения были не отмычкой для прихода к власти, но делом совести и сердца. За эту книгу мне присвоили степень доктора исторических наук. А я мысленно передал эту степень покойному Виктору Мануэлю, подвигнувшему меня на эту работу.

Вообще 1967 год выдался тяжелым. В октябре пришло из Боливии сообщение о гибели Че Гевары. Даже глядя на фотографии расстрелянного партизана, я не хотел верить, что уже нет больше на земле такого апостольского склада человека, цельного, чистого, нечувствительного к боли и страху – вечным оковам простого сметного. Социализм как учение может гордиться тем, что его сделали своим мировоззрением люди такого гигантского человеческого измерения, как Че Гевара. Его гибель потрясла тогда весь мир. Убийцы снискали не меньше дурной славы, чем палачи Христа. Мое горе и скорбь были безмерными.

Командировка между тем подходила к концу, она и так уже длилась без малого семь лет. Пора было собираться домой. Оценку своих профессиональных успехов предстояло по возвращении получить дома, в центре. А между хлопотами по сборам в дорогу думалось о том, что, кроме работы в качестве разведчика, пребывание в Мексике дало мне и богатейший жизненный опыт общения с людьми, с которыми я не встретился бы в иной обстановке. Мне довелось помогать выдающимся артистам, писателям, спортсменам, которые приезжали в те годы в Мексику. Я искренне делился с ними своими знаниями о стране, помо-

гал им как переводчик, как шофер, в конце концов. Как можно забыть Давида Ойстраха, Майю Плисецкую, Константина Симонова, Сергея Герасимова, Тиграна Петросяна и Пауля Кереса! Им не обязательно помнить нас, но, если они помнили Мексику и, вспоминая, лучились улыбками, мне этого достаточно.

Но о некоторых эпизодах хотелось бы рассказать. Году в 1968-м приехал в Мексику для публичных поэтических выступлений Евгений Евтушенко, о личности которого все время шли противоречивые толки. Я вспомнил, что еще в 1963 году во время пребывания Ф. Кастро в Москве Хрущев жаловался, что, мол, Евтушенко опять дурит, распускает слухи о своем неизбежном самоубийстве, перерезает телефон в своей квартире. Тогда Фидель, помнится, ответил: «А вы пришлите его на Кубу, он посмотрит на нашу жизнь, и, глядишь, дело поправится!» После этого разговора Евгений Александрович действительно ездил на Кубу. И вот теперь он в гостях у нас, в Мексике. Посол созвал совещание старших дипломатов, решая, как лучше организовать работу с неудобным, строптивым поэтом. Встал вопрос, кого прикрепить к нему в качестве консультанта и переводчика. Была выделена группа дипломатов, каждая кандидатура обсуждалась с самим Евтушенко, который отвергал их одну за другой. То, видите ли, работник был секретарем парткома, то был сотрудником ГРУ или КГБ, то слаб в искусстве. Когда список был исчерпан, кто-то предложил мою кандидатуру (я работал тогда «под крышей» заведующего бюро АПН), и он согласился, заметив: «Этот-то точно не из КГБ». И началось наше полубогемное бродяжничество, никак не совместимое с моей другой жизнью. Я помнил, что в опубликованной к тому времени «Ранней автобиографии» Евгений Александрович писал, что на вопрос, к какой партии он принадлежит, ответил бы: есть лишь две партии – порядочных людей и негодяев. Мне было приятно убедиться, что он тогда в моих глазах подтверждал свое членство в первой партии своими делами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.